

Дарендорф Ральф

Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы

Перевод с немецкого Л.Ю. Пантиной

М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002

(отрывки)

1. РЕВОЛЮЦИИ И ЖИЗНЕННЫЕ ШАНСЫ

Два лика модерна

Революции — горько-сладкие мгновения истории. Ненадолго вспыхивает надежда, оборачивающаяся вскоре разочарованием и новыми неурядицами. Это относится и к великим революциям, таким как революция 1789 г. во Франции и 1917 г. — в России, и к более мелким политическим переворотам. До того как им разразиться, проходят годы угнетения, высокомерия властей предрержащих и злостного пренебрежения нуждами людей. Окостеневший старый режим цепляется за свои привилегии, а если даже пытается обновиться, никто ему не верит, и в результате он не может претворить свои запоздалые планы в жизнь. Люди не желают больше его терпеть. Обостряющаяся конфронтация накапливает энергию конфликта. Положение начинает напоминать пороховую бочку. Достаточно одной искры — искры надежды в результате противоречивых политических реформ или искры раздражения из-за стрельбы в неурочное время — и следует взрыв, старое здание начинает шататься. В один миг не остается ничего устойчивого. Вчерашняя государственная измена сегодня становится вполне законным действием, вчерашний закон становится изменой. Для наиболее возбужденных умов открываются неслыханные возможности: власть народа, размывание всего твердого и прочного, утопия. Многих охватывает приподнятое настроение. Кажется, уничтожаются не только злоупотребления старого режима, но и стеснительные узы самого общества. Что за чудесные времена!

Вот только они быстро проходят. Медовый месяц не может длиться долго. Повседневность улавливает людей в свои сети. В конце концов, невозможно всю жизнь день за днем ходить на демонстрации или сражаться на полях гражданской войны. Условия жизни отдельных людей отражают общие социальные условия. Беспорядки не способствуют экономическому развитию, а политическая нестабильность вызывает страх. Благие попытки миновать долину слез проваливаются. Общее настроение начинает колебаться, затем резко меняется. Иногда вмешивается какая-нибудь внешняя сила, оставляя тем самым незапятнанным образ если не революции, то, по крайней мере, утопии. Иногда якобинская фракция изнутри отбирает власть у раздробленного большинства. Не заключается ли противоречие в самом выражении «власть народа»? Вскоре красивые слова о строительстве лучшего мира оборачиваются оправданием нового режима террора. Это может быть «временная» диктатура, чрезвычайное положение перед лицом внешней угрозы или просто приход к власти харизматического лидера посреди всеобщего беззакония; так или иначе, все заканчивается новой несвободой. Лишь спустя годы потомки замечают, что, невзирая ни на что, все же произошли глубокие перемены. Первый день революции объявляется государственным праздником. Но поколение участников событий теряет свои иллюзии; оно пытается выжить, укрываясь в нишах личного благополучия, в тупой покорности, лишь изредка прерываемой вспышками тщетного протеста.

Даже если нарисованная картина правдива только наполовину, возникает вопрос: как вообще кто-то может желать революции? Впрочем, не стоит быть уверенным, что ее желает так уж много народу; для большинства стремление сломать повседневную рутину в куда большей мере перевешивается страхом и мрачными предчувствиями. Когда после долгого периода жары и суши разражается гроза, люди, конечно, радуются дождю, но они предпочли бы, чтобы он шел понемногу каждый день, а не налетал с молниями и градом. Разумеется, не все люди одинаковы. Всегда находятся любители свободного полета, которым недолгий период упразднения всякого общества доставляет больше удовольствия, нежели тем, кто прочнее в этом обществе укоренен. Иногда даже возникают анархии. Сверх того, ужасы революции для многих таят очарование запретного плода. Революция в каком-то смысле — иное название надежды, непреложного принципа человеческой

жизни. Кто знает, может быть, когда-нибудь все же произойдет настоящая революция? Разве американская революция в целом не увенчалась успехом? А как насчет революции 1989 г. в коммунистических странах Европы?

Подобные вопросы и соображения не имеют принципиального значения. Людей не спрашивают, хотят они революции или нет. Революции происходят, когда не остается другого выхода. Они в самом деле подобны буре или землетрясению. Конечно, их совершают люди, но действуют они всегда при этом по воле обстоятельств, которые могут контролировать лишь весьма условно. «Человечество по необходимости ставит перед собой только те задачи, которые может выполнить».

Человек, написавший это, — автор столь же блестящего, сколь ошибочного объяснения революций - Карл Маркс. По счастью, его заблуждения достаточно интересны, чтобы заслуживать критического разбора. Марксова теория состоит из двух частей: социально-политической и социально-экономической. В обеих этих частях до сих пор содержится ключ к пониманию современного социального конфликта, хотя способ, каким их соединяет Маркс, дает повод к всевозможным сомнениям. Данные элементы теории преобразования связаны с двумя ликами модерна, а последние — не что иное, как два лика гражданина, *Burger*, рассматриваемого как *burgher*, т.е. буржуа, или *citoyen*, т.е. подданный государства. С обоими мы будем встречаться на протяжении всей книги, ибо первый — глашатай экономического роста, а второй - равных шансов политического участия. Весьма затрудняет вопрос то обстоятельство, что немецкое выражение «*burgerliche Gesellschaft*» (гражданское общество) смешивает и безнадежно спутывает оба понятия, хотя первоначально оно являлось всего лишь переводом старого доброго *societas civilis*, оставшегося жить в англосаксонском *civil society*.

Итак, присмотримся к теории Маркса. Первая ее часть посвящена социальным классам. В каждую историческую эпоху друг другу противостоят два класса. Господствующий класс готов к борьбе с самого начала: он приходит как сложившееся «в себе и для себя» целое из предыдущей эпохи. Угнетенный же класс должен сперва пройти различные стадии формирования. Спорадические вспышки насилия ускоряют процесс его организации; скрытые интересы выходят наружу; «класс в себе» становится «классом для себя». По мере того как это происходит, обостряется конфликт между господствующим и угнетенным классами. На какое-то время наступает равновесие, затем весы успеха начинают склоняться в сторону последнего. Угнетенный класс набирает силу; даже отдельные элементы господствующего класса начинают сомневаться в прочности своей позиции и присоединяются к противнику. («Именно, — говорят Маркс и Энгельс в «Коммунистическом манифесте», — часть буржуа-идеологов». Все обществоведы сталкиваются с трудностями при определении собственной роли в своих теориях; Маркс и Энгельс не исключение.) Затем следует решительный бой, и революционный переворот завершает эпоху. Прежний правящий класс отправляется на свалку истории; прежний угнетенный класс занимает его место как новый правящий.

Однако конфликт классов разворачивается не в безвоздушном пространстве; бойцы классовых боев — в некотором смысле марионетки, управляемые невидимыми социальными силами. Это уже вторая часть Марксовой теории. Господствующие классы представляют характерные для данной эпохи «производственные отношения». Это значит, они заинтересованы в том, чтобы оставить вещи такими, как есть, причем под «вещами» подразумеваются в первую очередь существующие методы создания благосостояния, законы, гарантирующие стабильность этих методов, и властные отношения, на которые опираются законы. Угнетенные классы, со своей стороны, черпают силы в новых «производительных силах». К ним относится все, что имеет будущее и стимулирует преобразования: новые технологии, новые организационные формы, новые правила игры и новые коноводы этой игры. Какое-то время производительные силы находят подобающее выражение в рамках господствующих правовых и социальных отношений; но вскоре наступает момент, когда потенциальное перерастает реальное. Это отнюдь не

безболезненный, автоматический процесс. Реальные отношения власти и собственности все сильнее сдерживают потенциал удовлетворения человеческих потребностей. Многим жилось бы лучше, но существующие отношения не позволяют. По мере того как все сильнее нарушается гармония потенциального и реального, возрастает интенсивность классового конфликта. Революции не только представляют собой крайние формы выражения протеста против невыносимых условий жизни, но и обещают новые способы организации общества. Они открывают дорогу шансам, которых не давал старый режим.

С точки зрения эстетических категорий научного метода, это прекрасная теория. Ее можно назвать одной из немногих теорий, осуществляющих давнюю мечту общественной науки сравниться в своей способности объяснять с наукой естественной. Но, увы, увы, события, которые теория должна объяснять, не подчиняются ее требованиям и нигде не развиваются так, как она прогнозирует.

Одной порванной нитки достаточно, чтобы распустить искусно сотканное полотно. Это относится и к теории Маркса, что революционный взрыв происходит в тот момент, когда условия жизни угнетенных масс достигают нижней точки. Маркс даже играет здесь словами: момент величайшей нужды («Not») бедняков есть в то же время момент величайшей необходимости («Notwendigkeit») преобразований². На деле это не так. Те, кто терпит самую сильную нужду, становятся скорее апатичными, чем активными, и беспросветный гнет порождает великое безмолвие при всех тираниях. Взрывы происходят, когда налицо какие-нибудь незначительные перемены — искра надежды, искра раздражения — чаще всего при признаках слабости власть имущих, намеках на политическую реформу.

Эта ошибка не случайна. Она связана с фундаментальной слабостью теории, которой никак не удастся вырваться из круга «эпох» и «систем». Конечно, Маркс знал, что социальные отношения постоянно меняются. Он даже описывает власть имущих капиталистического общества, буржуазию, как класс, который «не может существовать, не революционизируя постоянно производственных отношений». Но для него и его последователей это означает лишь то, что практические, функциональные усовершенствования — неотъемлемая черта капиталистической системы. Система только утверждает себя с их помощью; исчезнет же она лишь в момент революции. До тех пор «ранний капитализм» может превращаться в «развитой капитализм», «поздний капитализм», «государственный капитализм», даже в «государственно-монополистический капитализм» — он все равно остается капитализмом. Теория, как по мановению фокусника, подменяется прописной истиной, аксиомой. Пока нет революции, капитализм исчезнуть не может. «Настоящая» перемена должна быть переменной революционной, а пока этого не случилось, все старые понятия остаются в силе *per definitionem**.

Карл Поппер называл это историцизмом: аналитические понятия гипостазированы, используются не для того, чтобы осветить прожектором теории какие-то аспекты и элементы действительно существующих обществ, а сами все больше подменяют собой действительность. Фактически такой вещи, как капитализм, никогда не существовало в природе, были только экономики и общества, более или менее носящие черты, определяемые как капиталистические. Нищета историцизма в том, что он делает своих приверженцев слепыми в отношении чудес реального мира. В теории историцизм ведет к бесконечному поиску спасательных кругов для объяснений, неспособных выбраться из воды собственными силами. Марксисты сами обрекают себя на головную боль при попытке переварить факт исчезновения революционного пролетариата. На практике историцизм приводит к заиканию на переломах и революциях как якобы единственном методе «истинных» преобразований, причем не только постоянные перемены в повседневной жизни обычных людей, но и легкие структурные сдвиги в целых обществах полностью выпадают из поля их зрения. Теория Маркса слишком хороша, чтобы быть пригодной для использования; это умозрительная модель, имеющая мало общего с опытом истории.

* По определению {лат.} (Примеч. пер.)

Откуда автор ее взял? Отчасти, естественно, у своего учителя Гегеля, чья диалектика отбрасывала свою тень на немецкую мысль и в прогрессивную эпоху до 1848 г., и в годы реакции после. Гегель стал олицетворением узости догматического мышления, и даже те, кто старался поставить его с головы на ноги, не избежали его смиренной рубашки. Но отчасти на Маркса повлиял также его собственный опыт, по крайней мере косвенный. Родившись в 1818 г., он рос в беспокойное время. Еще не затихли отголоски громов Французской революции. Когда Маркс от философии обратился к политической экономии, он скоро открыл для себя еще один крутой переворот XVIII столетия — промышленную революцию. Так и видишь, как два эти события стали накладываться друг на друга в его голове. В Париже более или менее организованные массы делали историю, и в требованиях третьего сословия предоставить ему подобающее представительство в Генеральных штатах при желании можно усмотреть классовую борьбу. С другой стороны, в Ланкашире и Йоркшире новые методы производства дали толчок новой социально-экономической динамике. Оковы феодальных уз, цехового и корпоративного регламента, традиций меркантилизма распадались перед лицом нового разделения труда, новых форм договора, новых требований обмена товарами и услугами, новой задающей тон прослойки. Говорить ли здесь о революции или нет, но оба элемента теории социального изменения были налицо.

Слово «революция» давно уже используется для обозначения двух совершенно различных форм крутых преобразований. Первая — глубокие преобразования, изменения стержневых структур общества, которые, естественно, требуют времени; вторая — преобразования быстрые, в частности — смена носителей власти в течение дней или недель путем в высшей степени явных и зримых, зачастую насильственных действий. Первую можно назвать социальной революцией, вторую — политической. В этом смысле промышленная революция была социальной, а политической — Французская. Однако обе они произошли не в одно и то же время и не в одном и том же месте. Совершенно очевидно, что промышленная революция в Англии и других местах принесла с собой политические перемены. К ним относится, например, требование носителей новой формы производства, чтобы их не оставляли больше исключенными из процесса правотворчества и законодательства, устанавливающего обязательные для всех нормы. Соответственно некоторые социально-экономические темы звучали во время Французской революции, например, когда речь шла о финансировании общественных расходов, что, в свою очередь, поднимало вопрос о роли короля (то есть о его бюджете) и собственности церкви и дворянства. Зримые перемены во всех этих отношениях не заставили себя ждать. И все же промышленная революция в Англии произошла много времени спустя после политической революции 1688 г., а политическая революция во Франции никоим образом не высвободила крупных экономических сил; напротив, она задержала процесс современного экономического развития в стране на десятилетия.

А что же бюргерство, или, говоря словами Маркса, буржуазия? Разве не она была движущей силой обеих революций? Разве не существовал, таким образом, класс, который одновременно представлял новые производительные силы и требовал политической власти? Даже если оставить в стороне тот факт, что буржуазия XVIII века с ее пробуждающимся самосознанием с трудом подходит под определение угнетенного класса — наподобие позднейшего пролетариата, — социальная фигура бюргера, или буржуа, все же достаточно примечательна именно в свете положения о двух ликах модерна.

Чтобы пользоваться новыми возможностями технологии и разделения труда, ранние предприниматели нуждались в такой форме трудовых отношений, которая в самой своей основе отличалась бы от всех традиционных форм зависимости. Им нужен был наемный труд на основе договоров между сторонами, хотя бы формально выступающими на равных. Таким образом, новый трудовой договор предусматривал элементарные гражданские права для всех. Одновременно те же предприниматели и их приспешники требовали для себя места под солнцем, или, выражаясь прозаичнее, социального признания и политического

участия. Они не желали больше ни оставаться запертыми в своих «бургах», этих островках свободы посреди моря феодальной зависимости, ни довольствоваться третьестепенным местом. Так экономические и политические интересы ранней буржуазии вылились в единое требование: они хотели быть *citoyens*, *citizens*, т.е. гражданами со всеми правами и свободами этого статуса.

Если смотреть с отдаленной дистанции, которую предполагает анализ, и промышленную, и Французскую революции можно назвать буржуазными революциями. Чреватые последствиями перемены XVIII столетия имеют двойной облик: они одновременно экономические и политические; точно так же двойной облик имеет новая социальная фигура гражданина, *bourgeois-citoyen*. Но дистанция анализа слишком велика, чтобы найти удовлетворительное объяснение. При ближайшем рассмотрении событий в Англии и Франции оказывается, что два лика их движущих сил принадлежат не одной-единственной социальной фигуре, а двум. Находчивые английские предприниматели и французское третье сословие — не одна и та же социальная группа. Речь идет не о Янусе, а, скорее, о близнецах, причем разнородных.

Как известно, Маркс говорил об одной-единственной революции будущего не меньше, чем о переворотах прошлого. В его прогнозах изъясн его теории виден отчетливее всего. Буржуазия и пролетариат представляют собой воюющие стороны в капиталистическом обществе. Это положение можно принять как правдоподобную характеристику некоторых (немногих) стран в определенные периоды времени в XIX и начале XX века. Организованные рабочие требуют от власти имущих больше прав и денег. Маркс такими простыми словами не выражался, но данный тезис не чужд его теории. Проблемы начинаются со следующим шагом в Марксовых рассуждениях, согласно которым профсоюзы и социалистические партии выдвигают свои требования от имени новых производительных сил. Последний термин, на мой взгляд, совершенно бессмысленный. Он всегда оставался бессмысленным, невзирая на многочисленные попытки Маркса и марксистов определить эти новые силы с помощью таких понятий, как «ассоциированные производители», «общественная собственность» или даже «безвластная коммуникация». (Подобные, под конец все более отчаянные, поиски новых производительных сил сами по себе о многом говорят.) Есть политические силы, и есть тектонические изменения социальных и экономических структур. Между ними, несомненно, существуют какие-то отношения. Но эти отношения не заданы раз и навсегда. Они варьируют от одной эпохи к другой, от одного места к другому и лишь в редкие мгновения достигают конгруэнтности, требуемой Марксом в качестве общего правила. Бывает, у некоторых людей двоится в глазах, так что они вместо одного предмета видят два. С Марксом случилось наоборот: гегелевская оптика заставила его видеть две разные вещи как одну, уведя тем самым далеко от реальности.

Права и их обеспечение

Метафорический язык все же несколько сомнительное средство, и пора охарактеризовать два лика модерна, определяющих его путь по меньшей мере с XVIII в., без образных картинок и аллегорий. В этом нам поможет одна история: в марте 1986 г. я побывал в Никарагуа. Сандинистский режим находился в зените своего могущества. Его гости скоро обнаруживали, что на полках супермаркетов мало что можно купить, а имеющиеся продукты и одежда производят весьма жалкое впечатление. В разговоре с министром внешней торговли Алехандро Мартинесом я поделился этим наблюдением, на что последовал решительный ответ: «Вы, кажется, порицаете тот факт, что на полках наших магазинов мало товаров. Положим, это верно, но позвольте кое-что вам сказать. До революции наши магазины были полны. Все, что имелось в Майами, оказывалось и на полках в Манагуа. Но огромная масса людей не могла себе всего этого позволить. Люди прижимались носами к витринам, восхищенно разглядывая пестрые тряпки, но все это было не для них. Мы в корне изменили положение. Сегодня каждый в нашей стране может

приобрести все, что есть. А если нам немножко повезет и если дадут американцы, то скоро всего будет больше».

Многие смеются, когда слышат эту историю. Парадоксы всегда вызывают смех, а здесь можно говорить о некоем «парадоксе Мартинеса»: революция превратила мир излишков для немногих в мир дефицита для всех. Однако при ближайшем рассмотрении история не так уж смешна. Взглянем на факты. Валовой общественный продукт на душу населения в Никарагуа удвоился с 1950 по 1976 г. Этот процесс развивался не линейно: он прерывался в конце 1950-х гг., а потом еще раз во время землетрясения 1972 г. После 1976 г. появилась тенденция к спаду. К моменту революции 1979 г. она отбросила страну к положению начала 1950-х гг. После революции до 1981 г. наблюдалось некоторое улучшение, скоро, впрочем, сменившееся дальнейшим спадом. В 1985 г. валовой общественный продукт на душу населения в Никарагуа снова находился на уровне 1951 г. Отчасти такова история революции — любой революции; отчасти виной война и притеснения со стороны Соединенных Штатов. Цифры распределения доходов получить не так легко, но все же представляется очевидным, что они тоже упали, хотя и не так сильно, как валовой общественный продукт; в 1984 г. они опустились на треть от своей высшей отметки, зафиксированной в конце 1960-х гг. При этом доходы в городе сохранились лучше, чем в селе, а в селе беднейшие слои оказались в сравнительно лучшем положении. Возросла роль государства как экономического фактора. Повысились валютные доходы. Борьба с неграмотностью, эпидемиями, безработицей имела некоторый успех. Один экономист суммировал все эти результаты в изречении, которое возвращает нас к парадоксу Мартинеса: «От роста без перераспределения — к перераспределению без роста».

Есть еще одна, теоретическая причина, почему парадокс Мартинеса заслуживает большего, нежели просто удивленные смешки. Министр провел важное различие, во многом связанное с двумя ликами модерна. Это различие между доступом, который люди имеют к вещам, и наличием вещей, способных удовлетворить их желаниям. Весьма вероятна такая ситуация, когда есть множество самых разнообразных товаров, в том смысле, что они действительно есть, даже там, где этого и следует ожидать, — в открытых для широкой публики магазинах, но притом многие не в состоянии приобрести их законным путем. Это характерно не только для Никарагуа при Сомосе, но и для стран реального социализма, где существуют особые магазины («Интершопы», «Березки»), в которых можно делать покупки, лишь имея специальное разрешение или твердую валюту. Может быть и так, что нет никаких барьеров, преграждающих людям доступ к товарам и услугам, в которых они нуждаются, но последних просто не хватает на всех потенциальных покупателей. В таких случаях излюбленным методом служит карточная система. Каждый человек получает свою норму продуктов из расчета 2000 калорий в день плюс шестьдесят сигарет в неделю, так что в плане доступа нет особых ограничений, зато существуют строгие ограничения в плане предложения. (В действительности весьма вероятно, что карточная система шествует рука об руку с привилегиями для немногих и черным рынком для многих, где, скажем, некурящие обменивают свое право покупать сигареты на другие продукты.) В крайних случаях могут возникать еще более чудовищные ситуации. Каждый волен ходить туда, где вообще ничего нет. Люди стоят в очередях, но им ничего не достается. Вокзал открыт, но поезда не ходят. Примером может служить Берлин в тот период, когда в последние апрельские и первые майские дни 1945 г. в некоторых частях города нацисты уже исчезли, а русские еще не взяли бразды правления в свои руки. Бывает и обратный феномен. Один семейный клан монополизирует почти все и выделяет средства к жизни лишь тем, кто непосредственно служит ему. В своей крайней форме это, вероятно, неосуществимо, но клан Сомоса в Никарагуа, Дювалье на Гаити, Чаушеску в Румынии весьма близко к ней подошли.

Разграничение, лежащее в основе парадокса Мартинеса, заставляет вспомнить убедительную теорию, выдвинутую Амартья Сеном в его книге о нищете и голоде⁴. Исследуя исторические случаи массового голода, Сен обнаружил недвусмысленные доказательства

того, что общепринятое и, возможно, на первый взгляд очевидное объяснение их причин отсутствием продуктов питания на деле неверно. Продуктов в голодающих регионах, в том числе в Бенгалии в 1943 г., конечно, не хватало, но, оказывается, в критические периоды массовых голодных смертей их было едва ли меньше, чем в предшествующие и последующие годы. Доступность их в узком смысле, т.е. транспортировка и распределение, тоже не представляла проблемы; в некоторых случаях продовольствие экспортировалось из тех местностей, где люди умирали от голода или вызванных голодом болезней. В чем же заключалась проблема? Сен вводит понятие *entitlement*, которое я перевожу как *Anrecht*, право, и хочу развить подробнее в интересах дальнейшего анализа. Согласно Сену, права составляют такое отношение между лицами и товарами, с помощью которого «легитимируются» доступ к товарам и контроль над ними. Права предоставляют людям возможность правомочного притязания на вещи. Отсюда следует, что вовсе не наличием или отсутствием продуктов питания, а количеством шансов доступа («количеством прав», как говорит Сен), находящихся в распоряжении социальных групп, вернее, их уменьшением и окончательным исчезновением объясняется массовый голод в Азии и Африке.

Амартия Сен — трезвомыслящий политэконом и предпочитает облекать свои чувства в рациональные аргументы, но его теория вряд ли могла быть драматичнее. Он бы, наверное, так не выразился, но сама теория свидетельствует, что по крайней мере в определенных случаях смерть тысяч, да что там — сотен тысяч человек вызывается не столько отсутствием продовольствия, сколько наличием социальных барьеров. Даже когда потребности становятся настоящими до крайности, когда речь идет о выживании, люди не нарушают социальных норм, а смиряются со своим положением, как будто так им на роду написано. «Закон стоит между наличием продуктов питания и правом на эти продукты». Мысль не слишком бодрящая. Сам Сен беспокоился, что она лишает всякого стимула продовольственную помощь; в более поздней статье он тем сильнее ратует за практические меры помощи. (Он мог бы при этом указать, что экстренная помощь в бедственном положении, хотя и пересекается с существующими структурами прав в то короткое время, пока она оказывается, не представляет для них серьезной угрозы, поскольку по самой своей концепции является преходящей, одноразовой.) По крайней мере, эта теория может утешить тех, кто заинтересован в получении существующих прав. Если нужно, чтобы было не больше продуктов, а меньше привилегий, то единственное спасение в крутых социальных переменах. Таково лишь одно из последствий теории, которая на первый взгляд кажется чисто технической.

Впрочем, у Сена понятие прав действительно техническое. По сути, «оно концентрируется на способности людей контролировать [товары] с помощью наличествующих в обществе легальных средств». Эта способность — не чисто индивидуальная, она сама структурирована социально; поэтому Сен предпочел впоследствии говорить о приобретательной способности (*acquisition*; тут, пожалуй, лучше подошел бы термин Макса Вебера «шансы приобретения»): «Право того или иного лица означает количество различных альтернативных пакетов товаров, которое это лицо может присвоить с помощью различных легальных методов приобретения». Следует подчеркнуть акцент на «легальности» средств и методов в обоих определениях: права в основе своей всегда суть законные права. Притом эти законные притязания могут основываться на множестве свойств («данных») или видов деятельности («действий обмена»). Не считая наследуемых прав собственности, Сен приводит следующие: «права, основанные на торговле», «права, основанные на производстве», «права на основе собственного труда», «переведенные права». В совокупности они образуют то, что Сен называет «количеством прав» определенного лица. Затем он задается вопросом, когда и почему происходит нечто вроде «отказа в правах», т.е. когда и где доступ к контролю над пакетами товаров ограничивается или прекращается. Рассматриваемые им примеры приводят к выделению прежде всего таких факторов, как растущие цены и снижающаяся

зарплата, а также и более прямых форм блокирования доступа. Как бы там ни было, включает Сен, «массовый голод имеет смысл анализировать именно с точки зрения прекращения действия отношений прав».

Право — часто употребляемая категория новейших социальных наук, а также теории общества. Одни пытаются с ее помощью уяснить своеобразный характер частной собственности; многие другие используют множественное число, «права», описывая благодеяния современного социального государства. Это понятие, очевидно, побуждает к оценочным суждениям. «Теория прав» Роберта Нозика, обосновывая минимальный перечень прав индивида, представляет личностный аспект «минимального государства». Лоренс Мид ратует за мир «по ту сторону прав», в котором больший акцент будет делаться на обязанности. В противоположность им Сен, как он говорит, использует данное понятие в целях «дескриптивных, а не прескриптивных». В этом я следую за ним. Права не являются ни благом, ни злом — это социально определенное средство доступа. Их можно назвать входными билетами.

Важен еще один аспект определения Сена: права имеют нормативную сторону. Как социальные нормы они обладают определенной степенью прочности; это означает, что их нельзя устранить без малейших затрат. Понятие нормы — более общее, чем понятие права, и на деле прочность прав может варьировать. На одном конце шкалы располагаются основные права. К ним относятся конституционно гарантированные права всех членов общества. Именно здесь место гражданских прав. Другие средства доступа не так прочны, хотя и они, когда даются впервые, могут действовать с достаточной надежностью. К этой категории относится доступ к рынкам. Он отнюдь не подразумевается сам собой. Китай, например, вовсе не «миллиардный рынок» в любом практическом смысле (как иногда с легкостью утверждают), потому что для подавляющего большинства китайцев мир экономического обмена и даже потребления товаров, выходящих за пределы элементарных потребностей, почти недоступен. На другом конце шкалы прочности права создаются реальной заработной платой (деньги, впрочем, вообще имеют характер права). Конечно, доходы могут варьировать, притом в обоих направлениях. Одно из важнейших изменений в правах, наблюдаемых Сеном при рассмотрении случаев обнищания и массового голода, как раз и заключается в падении дохода. Это касается не только развивающихся стран. В одних странах реальная заработная плата более «клейкая» (по Кейнсу), т.е. менее предрасположена к движению вниз, чем в других. Вероятно, можно сказать, что в подобных случаях ее характер как права выступает с большей отчетливостью.

Здесь нужно подчеркнуть еще один аспект прав. Входные билеты открывают двери, но для тех, у кого их нет, двери остаются закрыты. В этом смысле права устанавливают границы и воздвигают барьеры. Это значит, что их в принципе нельзя понимать как нечто постепенное; половина билета — не билет, права доступа могут быть предоставлены большему или меньшему количеству людей, но при этом они однозначно определены как таковые. Права растут или уменьшаются ступенчато, а не непрерывно. Фактически правильнее сказать, что они не «растут» и не «уменьшаются», а создаются или уничтожаются, даются или отбираются.

Именно это отличает права от другой стороны парадокса Мартинеса — от наличия вещей, на которые люди имеют право. Дать этим «вещам» имя не так легко, особенно если к входным билетам, которые мы называем правами, причисляются как основные гражданские права, так и реальные доходы. Экономист Амартья Сен достаточно умен, чтобы ограничиться товарами или «пакетами товаров». Он, вероятно, не затруднился бы распространить свою мысль и на предложение благ, в той мере, в какой их можно осмыслить экономически, то есть измерить. Но права, как они здесь понимаются, могут открывать двери и к неэкономическим «товарам». Избирательное право, к примеру, тоже является таким правом, и многое, если не все, зависит от того, осуществляется ли оно в однопартийном государстве, где нужно просто сказать «да» предложенному списку

официальных кандидатов, или в многопартийной демократии. Другие примеры еще сложнее. Есть право на образование. Не значит ли это, что следует предложить обществу альтернативные школы или образовательные курсы, чтобы придать данному праву материальное содержание? В любом случае такие понятия, как «товары» или даже «блага», очевидно недостаточны, когда речь идет обо всем спектре материальных и нематериальных возможностей выбора, открываемых правами. Для обозначения этих возможностей выбора я буду использовать понятие «обеспечение прав».

Обиходное слово «выбор» может означать как сам акт выбора («я делаю выбор»), так и предоставляемые на выбор предметы («имеется широкий выбор»). Обеспечение прав — это выбор только в последнем смысле. Иными словами, это существующий на данном поле деятельности веер альтернативных возможностей. Эти альтернативы и сами структурированы: изобретательностью рынков, желаниями людей, тем, что экономисты называют вкусами, и разного рода организованными предпочтениями. Время от времени я буду разбирать подробнее структуру отдельных обеспечений. В остальном же обеспечение прав будет определяться на протяжении всей книги как нечто такое, что может возрастать и падать непрерывно. Это в принципе понятие скорее количественное, чем качественное, скорее экономическое, чем правовое или политическое. Обеспечение прав может варьировать по крайней мере в двух отношениях: во-первых, по количеству, во-вторых — по разнообразию. Оба эти измерения связаны друг с другом таким образом, о котором я скажу подробнее там, где это будет необходимо. Тот факт (к примеру), что число проданных газетных экземпляров выросло с 10 до 12 миллионов, мало что значит, если речь идет об официальных партийных газетах, представляющих одно и то же направление, или массовых листках, одинаково бессодержательных; напротив, увеличение числа независимых газет с 10 до 12 означает рост даже в том случае, если их общий тираж остается прежним.

Слова — не теории. Понятия должны научиться работать, прежде чем с ними можно будет сделать что-нибудь путное. Это касается и введенной здесь пары «права и их обеспечение». В ходе данного анализа у этой парочки будет достаточно случаев поработать, прежде всего в тех главах, где названные понятия будут использоваться как ключ к пониманию переменчивой общественной истории XX века. Но прежде будет полезно обогатить сами понятия примерами и теоретическими комментариями (в следующих разделах настоящей главы), а также поставить их (в следующей главе) в теоретическую взаимосвязь, обратившись для этого к Марксу и к революциям XVIII века. Тем не менее уже сейчас проблема современного социального конфликта может быть сформулирована с их помощью.

Промышленная революция в первую очередь была революцией обеспечения. Она привела в итоге к большому росту национального благосостояния. Французская революция, со своей стороны, была революцией прав. Она открыла собой новый этап на пути прогресса прав человека и гражданина. В XVIII столетии (и в интересах буржуазии) обе близко подошли друг к другу. С тех пор они, скорее, расходились в разные стороны. Партии обеспечения и партии прав — политика экономического роста и политика гражданских прав — ведут друг с другом борьбу вплоть до сегодняшнего дня. Такова логическая фигура, выведенная из представленных выше соображений.

Политика и экономика

Мысль о разграничении прав и их обеспечения не нова. Для лучшего ее понимания молено указать на родственную пару понятий. За несколько лет до того, как Амартья Сен написал свое исследование случаев массового голода, Фред Хирш опубликовал книгу под названием «Социальные пределы роста». Главная ее идея заключается в проведении различия между «материальной экономикой» или «материальными благами» и «позиционной экономикой» или «позиционными благами». Первые являются объектом

экономического роста в традиционном смысле, тогда как вторые согласно самой своей природе остаются в небольшом количестве. Поэтому, как бы далеко ни зашло равенство в обладании материальными благами, оно не сможет устранить позиционного неравенства. Когда все (почти) ездят на автомобилях, богачи пересаживаются в личные самолеты; материальное богатство возрастает, однако позиционное неравенство остается. Сам Хирш опирается на введенные Роем Хэрродом понятия «демократического благосостояния» (которое может быть распространено на всех) и «олигархического благосостояния» (остающегося в руках немногих). В данном случае, как и в других подобных, речь по существу идет о различии между экономическими факторами с одной стороны, социальными или политическими — с другой.

Политика и экономика понимаются здесь в широком, не узкотехническом смысле. Различие между ними заключается в том, что политические процессы основаны на действиях людей, а экономические протекают естественным путем. Политика творится в институтах, экономика на рынках. Это не исключает незапланированных политических конфликтов или сознательных решений относительно поддержки экономического развития. Фактически самая соль вышеупомянутого разграничения в том, чтобы вновь свести воедино политику и экономику, т.е. определить их отношение. При этом, однако, речь идет о двух формах социальных процессов и двух перспективах для общества.

Адам Смит верил, что происходит «естественный прогресс богатства». Рынок, считал он, в себе самом заключает силы для своего расширения, так что в итоге все неравенства будут сметены, «и всеобщее благосостояние распространится на самые различные классы общества». Парадокс налицо: есть «всеобщее благосостояние», но есть и «различные классы общества». Представляется, что скорее произойдет обратное, т.е. люди будут равны по своему классу, но будут иметь разные доходы. Неравенство обеспечения всегда легче перенести, чем неравенство прав. Фактически мы находим здесь у Смита одну странную слабость экономического анализа. Эта дисциплина чуть ли не по самой своей природе сконцентрирована на обеспечении. Экономика есть наука об обеспечении. Все, что только можно, выводится из роста обеспечения — доходов, жизненного уровня, благосостояния. Никто не станет отрицать, что экономическое чудо, долго продолжавшееся со времен промышленной революции, изменило декорации человеческих обществ. Но экономисты чуть ли не со страхом настаивают на постоянстве базовых социальных структур, как будто самые начала экономики будут разрушены, если они изменятся.

При этом политические предпочтения экономистов не играют тут совершенно никакой роли. Фридрих фон Хайек поет хвалу пионерам, принимая как само собой разумеющееся, что остальные плетутся позади. Такое положение кажется ему вполне терпимым, поскольку «даже сегодня беднейшие слои обязаны своим относительным благосостоянием действию неравенств прошлого». На другом конце спектра Роберт Хайльбронер с тревогой смотрит на тех, кто в состоянии «преграждать другим доступ к благам, составляющим благосостояние», но считает это своего рода законом природы, ибо благосостояние для него — «социальная категория, неотделимая от власти». Не бывает такого, чтобы гражданские права отъединяли статус человека от его экономического положения. Этой же слабостью отмечено и разграничение, проводимое Хиршем, который принимает «позиционные блага» за своеобразную основную константу и, следовательно, считает неравенства в правах неизбежными и неизменными.

На самом деле это не так. Нельзя путать недостатки экономического анализа с действительностью. Капитализм — рост обеспечения — не разрешает и не создает всех проблем. Адам Смит заблуждался, ожидая слишком многого от «естественного прогресса богатства», а Карл Маркс заблуждался, ожидая, что в результате противоречий капитализма гордиев узел прав и их обеспечения будет в конце концов драматически разрублен. Как правило, две революции модерна не сплавляются в единую цепь событий, и нет такой теории, которая объясняла бы их обе сразу. Теория классового конфликта и теория несовместимости новых сил и старых отношений — две различные теории. Рынки несостоятельны, когда

речь идет об изменениях прав, правительства — в деле повышения обеспечения, и было бы неверно возлагать на рынок или на государство ответственность за то, к чему они по своей природе неспособны.

Все это, без всякого сомнения, относится в равной мере и к рынку, и к государству. Существует не только экономический империализм, возлагающий все надежды на расширение обеспечения, но и политический империализм, пытающийся все экономические вопросы трактовать как вопросы прав. Последний распространен как среди тех, кто вслед за Марксом верит, что революции прав дадут благосостояние, так и среди тех, кто чуть ли не саму бедность считает нарушением прав человека. Не только пытки и произвольные аресты, любят они говорить, являются нарушением основных прав, но и голод и незаслуженная нужда. Амартья Сен показал, что здесь есть определенная взаимосвязь, но характер ее все же не позволяет говорить о праве на благосостояние. Ни один судья не сможет гарантировать подобное право, а ведь законные права всегда предполагают возможность обжалования их нарушения. Таким образом, взаимосвязь здесь более сложная и косвенная.

В то же время связь политики и экономики — плодотворнейший аспект их разграничения. В первую очередь это подтверждают дисциплины, которые такой связью занимаются. Главный теоретический труд Макса Вебера носит название «Экономика и общество», а шотландские обществоведы называли себя «политическими экономистами» (хотя часть из них занимали кафедры моральной философии). Этой же традиции, безусловно, следует Карл Маркс. Джон Мейнард Кейнс является, вероятно, самым значительным ее представителем в XX веке. Недавно возникла, главным образом в Соединенных Штатах, школа «конституционных экономистов», на которую мы здесь не раз будем ссылаться.

Вышеназванная взаимосвязь имеет несколько важных аспектов. Один из них заключен в вопросе: насколько политика и экономика обуславливают одна другую? Каковы экономические предпосылки политической свободы? Каковы политические предпосылки экономического прогресса? Эти вопросы актуальны везде, где пытаются найти способ перехода от авторитарных или тоталитарных режимов к открытым обществам. Германии после Второй мировой войны повезло, как и Испании в 1980-х гг. Они пережили развитие демократии в годы быстрого экономического роста. Вот только корреляция первой и второго в умах людей легко превращается в причинную связь, каковая все же сомнительна. В результате многие верят, что демократия делает людей богатыми. Что-то они скажут своим политическим институтам, когда экономическая ситуация изменится к худшему?

Президент Горбачев, кажется, имел свое мнение по этому вопросу. Выражаясь его языком, можно было бы сформулировать такой тезис: «гласность», т.е. политическая свобода, еще не является гарантией «перестройки», т.е. экономических преобразований. Пример Никарагуа показывает другую сторону той же истории. Никарагуа при Сомосе какое-то время была страной со значительным экономическим ростом. Об этом нам говорят по крайней мере макроэкономические показатели. Но лишь меньшинство могло получить от этого роста выгоду. Существовали пороги участия не только в политическом процессе, но и в экономике; они образовывали жесткие барьеры. Рост не достигал нижних слоев, потому что границы прав в никарагуанском обществе этого просто не допускали. То же самое происходит во многих развивающихся странах. Прежняя вера, что переводимые в третий мир деньги лишь поначалу сделают богатых еще богаче, но с течением времени просочатся вниз и создадут среднее сословие, — просто результат голого экономического расчета, не принимающего во внимание ни политический, ни социальный фактор. Нет границ ни богатству богатых, ни их цинизму по отношению к бедным. Даже от прекрасно задуманных проектов Всемирного банка выигрывают, как правило, имущие, отчасти вследствие коррупции, отчасти потому, что только они могут этими проектами воспользоваться, тогда как положение неимущих не меняется. Если не сломаны традиционные структуры прав и не создано гражданское общество, макроэкономический

рост для многих людей мало что значит, как бы ни радовала Международный валютный фонд глобальная статистика.

Сломать эти структуры — тоже еще не все. У процесса политического преобразования есть свои проблемы, и первая из них — опасность того, что господствующий слой будет заменен новым слоем функционеров, номенклатурой. Даже в самом лучшем случае отнюдь не очевидно, что политическая реформа освободит пружины экономического успеха. Экономический прогресс требует целой палитры стимулов и побуждений, в совокупности составляющих ту таинственную силу, которую можно назвать человеческой мотивацией. И пряник экономистов обеспечения, и кнут воспитателей трудовой дисциплины вовсе не обязательно вызовут чудо. Люди должны хотеть больше и при этом быть готовыми отказаться от немедленных удовольствий ради более полного удовлетворения в будущем, возможно, весьма отдаленном. Это два крупных препятствия на пути к экономическому благосостоянию, и одна политика мало что может сделать, чтобы преодолеть их. Приходится вспоминать о протестантской этике и духе капитализма, о необходимости освободить людей от привычки к циклу бедности, о предприимчивости и изобретательности.

Такого же рода замечания можно сделать по поводу многократно развивавшейся темы отношения капитализма и демократии. С этой темой мы не раз встретимся в дальнейшем. Выше уже шла речь о том, чтобы прояснить сложные взаимоотношения политики и экономики посредством вопроса, насколько одна обуславливает другую. Несомненно, определенные структуры прав служат необходимой предпосылкой роста их экономического обеспечения, но не более того. В свою очередь, широкое и растущее обеспечение помогает становлению политических структур, но создание их требует особого акта. В связи с отношением политики и экономики возникает еще один вопрос; он несколько тоньше и вновь встанет перед нами при анализе высокоразвитых обществ: насколько высокий уровень обеспечения может затмить проблемы прав? Могут ли, в свою очередь, права компенсировать недостающее обеспечение? Не переводимы ли, до известной степени, оба эти аспекта друг в друга? В Соединенных Штатах (как еще будет особо показано ниже) права граждан, по европейским меркам, остались в зачаточном состоянии, но на жизненные шансы большое влияние оказали «неограниченные возможности» «открытой границы». С другой стороны, в Великобритании экономическое обеспечение по меньшей мере с Первой мировой войны оставляет желать много лучшего; однако развитие в сфере прав создало свои средства удовлетворения. Теоретически такая постановка вопроса интересна, поскольку существует возможность, что конфликты, даже классовая борьба, могут быть переведены в индивидуальную мобильность и, наоборот, ограничения мобильности — привести к групповым конфликтам. Это вызывает новые вопросы. Можно ли, к примеру, сказать, что господствующие классы всегда заинтересованы в том, чтобы любые проблемы превращать в экономические, а классы, требующие своего, предпочитают язык политики?

Таким образом, взаимосвязь политики и экономики — прав и их обеспечения — ставит вопросы большого теоретического и эмпирического значения. Однако это все же взаимосвязь двух разных процессов и перспектив. Конечно, хотелось бы их объединить. В разговоре с министром Мартинесом напрашивался вопрос: почему нельзя иметь сразу и всеобщий доступ, и изобилие товаров? Ответ не так прост, как считал Мартинес, заявляя, будто обеспечение товарами — просто вопрос времени и прекращения американских эмбарго и бойкотов. Бывают стратегические изменения, которые одним ударом делают возможным возрастание как прав, так и их обеспечения; но это редкие и великие моменты истории. Общее правило носит несколько иной характер и заключается в конфликте между разными стилями мышления.

Вот перед нами партия обеспечения — она верит, что дело прежде всего в экономическом росте, увеличении количества товаров, повышении их качества и разнообразия. Приверженцы этой партии любят представлять задачи человечества как игру с

положительным итогом. По их мнению, прогресс может быть безболезненным. Естественно, нужно немного напрячься, зато потом придет заслуженная награда. Все важнейшие вопросы так или иначе являются экономическими в том смысле, что мы должны все дальше и дальше отодвигать границу дефицита, чтобы все могли иметь больше. Партия прав другого мнения. Она настаивает, что необходимо принимать более жесткие решения и порой вести игру с нулевым итогом, при которой одна сторона должна оплачивать выигрыш остальных. В основе прогресса лежат не общие усилия по отодвиганию границы дефицита, а борьба разных групп за место под солнцем. Прогресс измеряется числом людей, получающих доступ к рынкам, к активной общественной деятельности, к шансам, имеющимся в распоряжении всего общества. Поэтому главные вопросы являются политическими в том смысле, что они требуют сознательных действий по утверждению прав и перераспределению товаров.

Обе партии можно обнаружить повсюду, порой даже внутри одной политической группировки. В период после революций XVIII века и где-то до 1848 г. многие либералы принадлежали к партии прав. Их не особенно беспокоили напоминания Берка и Токвиля о цене революций. «Мы отказались от всего хорошего, что мог дать нам старый режим, но мало выгоды приобрели от того, что предлагает нам нынешнее положение дел». Это снова о Никарагуа? Нет, об Америке, какой ее, во всяком случае, увидел Токвиль в 1830-е гг. Вскоре, однако, борцы за права обратились к проблеме их обеспечения. Либералы пришли к выводу, что всеобщих прав уже хватит, а точнее — раскололись. Одни далеко не сразу осознали, что равенство перед законом должно дополняться политическим участием, всеобщим избирательным правом, не говоря уже о государстве всеобщего благосостояния, необходимость которого была признана полвека спустя. Другие продолжали бороться за права, но уже с меньшим воодушевлением. На сцену выступила новая партия прав в облике социализма. Этот спор в различных формах продолжается до сегодняшнего дня, не в последнюю очередь — в виде диспута между социал-демократами и неолибералами или кейнсианцами и последователями Фридмана.

Жизненные шансы

История не имеет смысла, говорит Поппер, но мы можем и должны придать его ей. Может ли этот смысл заключаться в одних лишь постоянных спорах партии прав и партии обеспечения? Сама возможность конфликтовать, независимо от того, какое значение эти конфликты имеют для их участников, это уже свобода? В самом общем виде ответ: да. Регламентированный конфликт — свобода, поскольку это значит, что никто не сможет превратить свою позицию в догму. Существуют институты, позволяющие говорить «нет» и, более того, смещать правителей. Свободу от произвола и тирании не стоит недооценивать. Лучшие люди в истории умирали за нее, даже в XX столетии.

И все же такая формальная свобода — лишь условие возможности того, что понимается под развитием человечества. Немаловажное само по себе разграничение негативной и позитивной свободы недалеко нас заводит, останавливаясь на вечном круговороте одного и того же, когда в конце концов совершенно все равно, кто правит, лишь бы это был кто-то другой, а не вчерашний правитель. Макс Вебер любил одно понятие, которое хорошо показывает, что еще, помимо чисто формальных условий деятельности, необходимо для основания свободного, открытого общества: это понятие шанса. Шансы — это нечто большее, чем предпосылки действия, и все же меньшее, чем фактические действия. Возможно, говорить здесь о смысле истории было бы преувеличением, но конфликты современного общества связаны именно с *жизненными шансами* людей. Большее количество жизненных шансов — большому числу людей — вот цель политики свободы.

Таким образом, понятие жизненных шансов является центральным для нашего понимания эпохи модерна, так же как и для любой либеральной теории. Понятие это непростое. В своей книге «Жизненные шансы» в 1979 г. я в первый раз попытался дать

ему определение. «Жизненные шансы есть функция опций и лигатур». О лигатурах я еще скажу ниже. «Опции — это данные в социальных структурах возможности выбора, альтернативы деятельности». Определение было сформулировано слишком общо. Сейчас можно сказать яснее: опции — это отдельные специфические комбинации прав и их обеспечения.

Неплохо было бы как-то их измерить, и велико искушение представить опции как произведение прав и их обеспечения. Однако один мысленный эксперимент покажет, что это недалеко нас приведет. Предположим, уровни прав и их обеспечения оцениваются по шкале от 1 до 10. Цифра 10, следовательно, обозначает наибольшие возможные права либо наивысшее возможное их обеспечение. Предположим далее, с некоторой оговоренной долей условности, что уровень прав в сомосовской Никарагуа по этой шкале может быть определен как 2, а уровень их обеспечения — как 6. В сандинистской Никарагуа положение, можно сказать, сложилось прямо противоположное, т.е. показатель уровня прав поднялся до 6, а показатель уровня их обеспечения опустился до 2. Если оба показателя перемножить, то в целом уровень благосостояния окажется идентичным в обоих случаях: дважды шесть равно шестью два. Так что же, при сандинистах страна ничего не выиграла — или, наоборот, ничего не потеряла?

Такое утверждение представляется несколько нелепым. Однако в подобной социально-арифметической игре ума все же есть свой смысл: она дает нам осознать, что мы нуждаемся и в том и в другом, и в правах и в их обеспечении, если хотим способствовать общему благу. Людям нужен доступ к рынкам, к процессам принятия политических решений и к возможностям культурного выражения, но во всех этих областях им должно быть предоставлено много самых разнообразных шансов выбора. Общество, не обладающее и первым, и вторым, не может быть всерьез названо цивилизованным. Итак, опции как составная часть жизненных шансов представляют собой функцию прав и их обеспечения, правда, более сложную, чем сумма или произведение.

В данном очерке речь везде будет идти об опциях, определенных таким образом. Можно было бы попробовать придумать другие понятия. На ум в первую очередь приходит термин «общее благо», означающий полное сочетание экономических и политических факторов пользы. Но он дважды дает повод для ошибочных толкований. Как специальный экономический термин он предполагает возможность измерения, которой, как мы видели, в действительности не существует. Как общеупотребительное выражение «общее благо», напротив, ассоциируется с политической концепцией государства всеобщего благосостояния. Опция — понятие менее двусмысленное. Время от времени, когда речь пойдет о цели повышения и увеличения человеческих опций, мы будем говорить просто о жизненных шансах.

Это, однако, известное упрощение. Жизненные шансы лишь частью являются опциями; другая их часть связана с координатами, внутри которых опции обретают смысл. Это трудная мысль, но, можно надеяться, она будет понята в мире, который, как кажется, предоставляет все больше возможностей выбора некоторым людям — прежде всего молодым, — никак не помогая им решить вопрос, какое значение будет иметь выбор той или иной опции. Что же может помочь в такой ситуации? На ум приходят многие понятия: нравственные мерки; тот внутренний компас, который Дэвид Райзман назвал «внутренним механизмом управления»; принадлежность к семье и общине, традиционной группе и церкви. Вероятно, здесь можно говорить о некоей глубинной культуре, поддерживающей и направляющей людей. Все раздумья подобного рода возвращают нас к понятию «связей», имеющих определенный оттенок «обязательности»: латинский глагол «ligare» (связывать) вновь и вновь появляется в таких словах, как «Religion» (религия), «Obligation» (обязательство), почему я и предлагаю говорить здесь о «*лигатурах*». Лигатуры, таким образом, — это глубинные культурные связи, позволяющие людям найти свой путь в мире

опций.

Но разве это не старомодное понятие, отмершее после революций модерна? В самом деле:

«Буржуазия сыграла в истории чрезвычайно революционную роль. Эта книга навеяна зрелищем этой неотвратимой революции, опрокидывающей любое препятствие и шагающей вперед и вперед по руинам, которые она сама же оставила. Когда нациями Европы управляла власть королей, поддерживаемая дворянством, общество наслаждалось, при всей его сомнительности, своего рода счастьем, которое сегодня трудно понять и воссоздать. Буржуазия повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его «естественным повелителям». В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма. После того как мы отказались от общественного устройства наших предков и оставили позади их институты, идеи и обычаи, все вместе и каждый в отдельности, что поставили мы на их место? Все застывшие, покрывшиеся ржавчиной отношения, вместе с сопутствующими им, веками освященными представлениями и воззрениями, разрушаются, все возникающие вновь оказываются устарелыми, прежде чем успевают окостенеть. Все сословное и застойное исчезает, все священное оскверняется. Верующие борются против свободы, а друзья свободы нападают на религию; души благородные и великодушные прославляют рабство, низкие и угодливые — превозносят независимость; честные и просвещенные граждане становятся врагами всякого прогресса, тогда как люди, лишенные нравственности и чувства патриотизма, разыгрывают апостолов цивилизации и просвещения».

Итак, эпоха модерна начала с того, что свершила дело разрушения. Но кто же описал это свершение в таких ярких красках? Я позволил себе уловку — которая наверняка не обманула большинство читателей — и смешал тексты двух великих авторов XIX столетия в один, выпустив к тому же некоторые куски предложений. Речь, конечно, об авторах «Демократии в Америке» и «Коммунистического манифеста» — Токвиле и Марксе. Обычно их не путаешь. Французский дворянин, недолгое время — республиканский министр, был модернистом поневоле, очарованным Америкой, но все же встревоженным опасностью заразы, исходившей из Нового Света; немецкий ученый, при случае организовывавший революционные группы, был модернистом циничным, не слишком восхищавшимся окружающей его действительностью, но полным надежд на создание некоего невиданного доселе мира. И все же в том, что касается характеристики эпохи модерна, они недалеко ушли друг от друга.

Современность по самой своей сути есть разрыв с лигатурами прежних времен. Миновало идиллическое прошлое с его священным трепетом. Выходя из поры несовершенности, на которое они сами себя обрекали, люди в то же время покидают теплое гнездышко стабильных человеческих отношений в рамках прочных сословных структур. «Все застойное исчезает». «Все застывшие, покрывшиеся ржавчиной отношения разрушаются». А что же взамен? Не так много. По Токвилю, во всяком случае, — героический реализм тех, кто готов смотреть в лицо шаткой действительности. По Марксу — cash nexus*, мир обеспечения в чистом виде, где единственными ориентирами представляются стимулы (служащие объектом манипулирования). Эту традицию продолжили другие, даже возвысили ее до теории. Ярким примером может служить Ницше («Бог умер»). Часть приверженцев экзистенциалистской традиции видела в любом действии acte gratuit**, никуда не ведущий проект-игру. В конечном итоге в мире, лишенном лигатур, недалеко и до ложных богов. Они обольщали многих, а некоторые последовали за ними даже до Джонстауна. Может быть, чудовищное массовое самоубийство 916

* Отношения чистогана (англ.) (Примеч. пер.).

** Немотивированное действие (фр.) (Примеч. пер.).

американцев — последователей пастора Джонса в Гайане — это символ и симптом мира без лигатур.

Есть, однако, и другая традиция осмысления современного мира, лишенная ностальгичности и утопичности, но вместе с тем и цинизма. Иммануил Кант, к примеру, смотрит на новый мир с гордым достоинством: «*Sapere aude!**** Имей мужество пользоваться *собственным* разумом! — вот девиз просвещения». Кант писал за полвека до Токвиля (а процитированный призыв появился за несколько лет до Французской революции). Макс Вебер излил на бумаге хвалу рациональности более, полувека спустя после «Коммунистического манифеста». Когда ломаются традиционные формы, процветают не только наука и техника: возникает «"государство" вообще, в смысле политического *института*, с рационально составленной "конституцией", рационально составленным правом и управлением, ориентированным на рациональные, составленные правила — "законы"», и, наконец, рождается современный капитализм. Итак — права и их обеспечение; эпоха модерна открывает неизвестные доселе жизненные шансы... Или опять-таки только опции, отвечающие кантовскому требованию иметь мужество не терять мужества?

Макс Вебер, как он сам говорил, был «немузыкален» в религиозных вопросах. Может быть, то же можно сказать и об обществе, которое он описывал. Однако большинству людей все же нужно немножко музыки; возможно, нам всем она нужна. Отсюда возникает вопрос, нет ли таких специфических современных лигатур, глубинных связей, которые не теряют своей силы, когда «все застойное исчезает». Здесь будет уместно понятие *civil society*, гражданского общества. Мир прав и их обеспечения, политики и экономики, не может существовать сам по себе; и то, и другое должно быть укоренено в мире общества. Жизненные шансы — двойная функция: во-первых, — функция опций как связи прав и их обеспечения, во-вторых, — функция опций и лигатур, как они представлены в обществе. Свобода покоится на трех столпах — конституционном государстве (демократии), рыночной экономике и гражданском обществе.

В данном очерке мы постоянно будем встречаться с понятием гражданского общества. В следующей главе ему будет дано более точное определение; далее будут приведены примеры, освещающие его подробнее, и, наконец, в последней главе приведенная аргументация завершится речью в защиту мирового гражданского общества. Сущность гражданского общества всегда состоит в заполнении вакуума между государственной организацией и атомизированными индивидами структурами, которые придают смысл совместной жизни людей. Таким образом, гражданское общество — это общество не просто индивидуумов, а граждан в полном смысле слова. Потому оно представляет собой продукт цивилизации, а не природы. (Эта взаимосвязь ярче видна в английском и французском терминах — *civil society*, *societe civile*.) Подчеркивая этот аспект слова «civil», Дэвид Юм мог опереться на традицию, начавшуюся еще с «Трактата о гражданском правлении» Джона Локка; сам же он стал вдохновителем «Истории гражданского общества» Адама Фергюсона. Отцы американской конституции хорошо понимали (как мы увидим ниже), что демократия и правовое государство мало к чему пригодны без гражданского общества. Гражданские общества современны все без исключения. Они не обязательно являются капиталистическими по своей структуре обеспечения прав, хотя по природе своей открывают возможности для инициативы и роста. Не являются они и обязательно демократическими по своим структурам прав, хотя предусматривают основные гражданские права для всех и самим своим существованием воплощают образ сопротивления авторитарным и тоталитарным соблазнам. Осуществленные жизненные шансы требуют лигатур гражданского общества. Без структур гражданского общества свобода остается тростинкой на ветру. Токвиль собрал все свое мужество, чтобы обрисовать возможное современное гражданское общество, так и не сумев

*** Дерзай знать (*лат.*) (*Примеч. пер.*).

сделать его особо привлекательным, тогда как Маркс отложил его возникновение на день после дождика в четверг и тем самым сделал его совершенно нереальным. Оба оказали нам плохую услугу. Иммануил Кант' лучше знал, что нужно для связи права со свободой, и называл это гражданским обществом.

7. ПОСЛЕ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ

Без работы

Симптом 1970-х гг. и их проблем звался стагфляцией: всякое движение, казалось, прекратилось, только ожидания людей все еще продолжали расти, и это противоречие стало болезненно сказываться. У 1980-х гг. были другие симптомы. Один из них, пожалуй, можно усмотреть в том, что теперь, казалось, все двигалось, доходя до грани возможного, а порой и переходя эту грань. В эти годы много зарабатывали, но и много рисковали и в конечном счете много теряли. Вслед за эффектными крушениями менее зримое воздействие начал оказывать страх, поселившийся в душе тех, кто размахнулся чересчур широко. Кривая обеспечения чуть не опрокинулась. Но здесь следует обратить внимание на права, т.е. на то, возник ли после эпохи Раймона Арона, после реформ и периода новой неясности какой-то новый социальный вопрос, который мог бы определять конфликты будущего. Следовательно, нам нужно взглянуть на другой симптом 1980-х гг. — странное противоречие между значительным экономическим ростом и высоким уровнем продолжительной безработицы.

В 1970-е гг. безработица увеличилась. Это никого не могло удивить, поскольку на первый взгляд являлось естественным побочным эффектом замедления хозяйственной деятельности. Ведь начало же число безработных снижаться, когда экономики ОЭСР стали оправляться от кризисов 1970-х гг. Но это снижение оказалось незначительнее, чем ожидали, и вскоре совсем прекратилось. Даже во времена хорошей конъюнктуры в 1980-е гг. уровень безработицы везде оставался высоким, а в некоторых странах даже поднялся. В таких государствах, как Германия, Франция и Великобритания, правительства поначалу были убеждены, что существование миллиона безработных неизбежно приведет их к поражению на выборах, но скоро подобные опасения остались в прошлом. Показатели роста, остановившиеся на 2 — 3%, отвлекли внимание даже от того факта, что число безработных в странах с населением 50 — 60 млн. человек перешагнуло за двухмиллионную границу. Показатель безработицы 5% стал считаться нормальным, 10% — терпимым.

К Соединенным Штатам это относится не в такой степени. В данной главе речь сначала пойдет главным образом о Европе (причем не касаясь даже некоторых европейских стран, таких как Швеция и Швейцария). Сравнительное исследование роли труда и безработицы в Европе, США и Японии выявило бы поразительные различия: европейскую неподатливость, американскую мобильность, японское умение прятать нежелательное с глаз долой. Но сосредоточимся пока на Европе.

Высокий уровень безработицы в эпоху экономического роста ставит вопросы относительно экономического развития, истории труда и гражданского статуса. Начиная с первого, нужно еще раз вспомнить об особом качестве роста в 1980-е гг. Этот рост для многих стал сюрпризом. Разве Олсон не говорил нам, что нужна война или революция, чтобы разбить оцепенение стагфляции? Революцией оказался всего лишь поворот господствующей экономической политики в сторону обеспечения, а война велась демократическими средствами — против профсоюзов и некоторых интересов государства всеобщего благосостояния. Зачинатели поворота не стояли в первых рядах предпринимателей в строгом шумпетеровском смысле слова; то были политики — Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер и другие фигуры различной политической окраски, последовавшие за ними, прежде всего в экономической политике.

Рост в 1980-е гг. шел не линейно. Многие встретили это десятилетие в глубокой яме. Только после 1982 г. можно говорить о высокой конъюнктуре во всем мире ОЭСР. К концу десятилетия, особенно в 1988 и 1989 гг., она достигла головокружительных высот. Таким образом, в среднем в большинстве стран рост валового общественного продукта

составил около 3% в год. Это огромная цифра, если вспомнить, что речь идет о процентах от целого, которое было вчетверо больше своего эквивалента в 1950 г. Если мы переведем проценты в количество дополнительных товаров и услуг в год, то получится, что оно в 1980-е гг. по большей части увеличивалось сильнее, чем в 1950-е и 1960-е. 1980-е гг. были десятилетием экономического чуда.

Что же это за чудо? Сьюзен Стрэндж придумала ему уже многократно упоминавшееся название «капитализм казино». Чудо 1980-х гг. питалось долгами и рискованными финансовыми операциями, чтобы не сказать — спекуляциями. Не случайно биржи Уолл-стрит и Лондона побили все рекорды, а другие с некоторыми колебаниями последовали за ними. Суммы, которые многие зарабатывали и снова вкладывали, превзошли любые фантазии, и прежде всего — любой опыт прежних времен. Возможно, то же самое в известной мере можно сказать обо всех периодах высокой конъюнктуры, но 1980-е гг. кажутся особенно опасными. Экономисты-аналитики по обе стороны Атлантики, такие как Феликс Роатин и Питер Джей, довольно рано увидели, что экономики мира ОЭСР «стоят на краю пропасти»³. Весной 1987 г. в США стала бестселлером футуристическая книга «Великая депрессия 1990 г.». В октябре того же года биржи пережили свой первый крах, два года спустя последовал еще один. Биржевой крах не обязательно означает спад в экономике; иногда кажется, будто курсы акций совершенно не связаны с развитием предприятий. Но и реальные национальные экономики в конце десятилетия поставили свои вопросы. Какова все же цифра устойчивого роста за это десятилетие? Не оказалось ли чудо в конечном счете оптическим обманом? Так или иначе, новоиспеченное благосостояние преуспевших сопровождалось тайными сомнениями.

Одна из причин этого заключается в зримом присутствии тех, кто не преуспел, — в безработице. В Европе рост 1980-х гг. практически не помог безработным. Пожалуй, можно даже защищать тезис, что он некоторым образом опирался на безработицу. Есть два метода повышения производительности: один состоит в том, чтобы с тем же количеством рабочей силы производить больше, другой — в том, чтобы производить столько же с меньшим количеством рабочей силы. В 1980-е гг. очень распространен был последний метод. Правительства, заботясь о конкурентоспособности своих стран, позволяли работодателям сокращать число работников до абсолютно необходимого минимума. «Выжатые» предприятия производили столько же, сколько и прежде, если не больше. Для Германии есть поразительные цифры, показывающие отношение между валовым общественным продуктом и количеством труда на человека (измеряемым по общему числу отработанных часов)⁴. До конца 1950-х гг. оба показателя повышались, хотя и тогда уже валовой общественный продукт возрастал быстрее, чем количество труда. Однако с тех пор кривые стали расходиться; сегодня они идут в противоположном друг другу направлении. В то время как показатель валового общественного продукта увеличился со 100 в 1950 г. до 400 в 1986 г., показатель количества труда на человека сначала поднялся примерно до 110, а затем за тот же период упал до 66. Гораздо более высокое обеспечение возникло за счет существенно меньшего приложения человеческих сил.

Экстраполяции таких наблюдений уже делались. Поэтому на политиков и экономистов они вряд ли теперь могут произвести впечатление. В особенности регулярно возникавшая на протяжении последних 200 лет мысль, что техническое развитие делает излишним применение человеческого труда, в наши дни находит меньше официальных сторонников, чем во времена великой дискуссии об автоматизации 1950-х гг. Но все же тем, кто считает, что как минимум один раз уже слышал все это, следует быть осторожнее. В природе и роли труда произошли глубокие изменения, затрагивающие как жизнь отдельного человека, так и социальные структуры. Труд сегодня уже не является очевидным ответом на социальные вопросы — он сам стал частью нового социального вопроса.

Труд — общераспространенная тема индустриального мира. Крупные ученые давно признали это. Они выявили один парадокс. Современные общества — это общества труда,

сконструированные на основе трудовой этики и профессиональных ролей, но при этом их движет вперед идея, а теперь, вероятно, и все более реалистическая перспектива мира без труда. Люди имели профессии, по крайней мере род занятий, до того как стали гражданами и, во всяком случае, до своего рождения как потребителей. Есть другие, окольные пути в мир обеспечения, но обычная, столбовая дорога ведет туда через профессиональную деятельность. Она определяет доход, включая трансфертный, социальный престиж, самоуважение и те способы, какими человек организует свою жизнь. С другой стороны, долгие дни тяжелого труда считаются невыносимым бременем; в течение столетий, и особенно в индустриальных обществах, привилегированный класс, на который многие взирали с изумлением и завистью, был праздным классом, состоящим из тех, кому нет нужды работать.

Этот парадокс развивался в разных направлениях, приводя к самым неожиданным результатам. В обществе труда жизнь человека имеет четкую структуру. Есть ранний период жизни, пока дети еще не вступили официально в профессиональный мир; в любой день, на любой неделе, в любом году есть время, когда трудящимся не нужно работать; затем, наконец, наступает закат жизни, профессиональная отставка. Сто и даже пятьдесят лет назад все эти три аспекта жизни были тесно связаны с четвертым — работой по профессии. Детство означало подготовку к работе посредством обучения необходимым навыкам и усвоения необходимых ценностей; досуг означал отдых от работы, для того чтобы иметь возможность продолжать работу; отставка, выход на пенсию были вознаграждением за долгую трудовую жизнь. Сегодня все три нетрудовые фазы обрели самостоятельное значение. Они увеличились в размерах и часто получают независимые от фазы труда характеристики. Мир образования и обучения отстаивает собственные ценностные представления; некоторые полагают, что он доминирует в современных обществах именно за счет труда. Досуг породил собственную, новую отрасль экономики; немало людей получают от своей деятельности на досуге как минимум такое же личное удовлетворение и социальное признание, как и от работы по профессии. Выход на пенсию стал началом третьего возраста человеческой жизни, который у многих длится лет двадцать и более, и вызвал к жизни собственные структуры, от «университетов третьего возраста» до «Серых Пантер» на политической арене.

Подобное развитие событий имело для труда неожиданные последствия. Встревоженные неоконсерваторы, объединившись с растерянными социалистами, поют гимн труду, хотя ни те, ни другие не в состоянии дать работу всем. По правде говоря, их заботит социальный и политический контроль, для которого пока не изобретен другой механизм, помимо дисциплины профессиональной деятельности. Труд внезапно стал не столько бременем, сколько привилегией. Даже группы верхних слоев с недавних пор вряд ли можно отнести к праздному классу; это, скорее, класс жадных до работы «трудоголиков». Многие его представители постоянно жалуются, что их рабочие и выходные дни почти не отличаются друг от друга, что у них годами не бывает настоящего отпуска, но на самом деле подобные жалобы — лишь форма «демонстративного потребления», выставление на всеобщее обозрение своего нового богатства — труда.

Проиллюстрируем произошедшее с помощью маленькой игры с цифрами. В типичном обществе ОЭСР сегодня 20% населения моложе того возраста, когда перед ними откроется рынок труда, еще 20% — на пенсии. 10% проводят время в учебных заведениях. (Кое-какие из этих средних цифр даже, скорее, занижены.) Из оставшихся 50% некоторые не стремятся ни к какой работе в смысле профессиональной деятельности, другие по тем или иным причинам неспособны к ней; пожалуй, мы не ошибемся, если сочтем, что обе эти группы вместе составляют около 15%. Предположим теперь, что еще 10% — безработные. Остаются 25% населения. Эти 25% проводят на рабочем месте примерно половину дней в году, а в эти дни работа отнимает у них примерно половину времени бодрствования. Так неужели мы действительно все еще живем в обществе труда?

Ответ — да, а доказательством служит судьба безработных. В наших расчетах они —

единственная группа, которая никого не устраивает. Никто не возразит против того, чтобы быть студентом, или пенсионером, или служащим в отпуске, совершающим кругосветное путешествие, или, например, приглашенным профессором, ушедшим в годичный отпуск; для некоторых оскорбительно быть домохозяйкой, но другим это приятно; если душевнобольные и люди с физическими увечьями неспособны работать, это печально, но неизбежно; однако быть безработным — совсем иное. Это неприемлемо. Это подрывает самоуважение человека, нарушает весь уклад его жизни и делает его зависимым от поддержки государства. Это исключает его из сообщества граждан, создавая тем самым новый вопрос прав.

Основное положение данного анализа сводится к тому, что безработица в 1980-е гг. в существенных своих моментах отличается от прежних форм того же явления. Людям давно приходилось беспокоиться за свои рабочие места. Нередко они становились жертвами сезонных колебаний или произвола предпринимателей. В конце XIX в. впервые были вскрыты систематические экономические причины безработицы? Темой социальной и политической реформы стала полная занятость. Ее объявили желательной, принимались меры, чтобы ее обеспечить. Независимо от употреблявшегося при этом языка прав, все подобные мероприятия основывались на предположении, что здоровый экономический рост приведет к полной занятости и наоборот. На всем пути от ранних требований регулирования случайных работ, от попыток регулирования спроса с помощью государственного бюджета и проектов общественных работ до всеобъемлющих планов «полной занятости в свободном обществе» (а в Великобритании все эти меры связаны с именами Уильяма Бевериджа и Джона Мейнарда Кейнса) никогда не возникало сомнений в том, что безработица не только недостойна, но и расточительна, и что макроэкономическая экспансия — неотъемлемая часть решения проблемы. Начиная с 1980-х гг. все это уже не столь однозначно. Появились признаки известного отрыва экономического роста от занятости, так что политике полной занятости следовало бы поискать совсем иные пути.

Это говорит не о том, что делать стало нечего, а о том, что проблемой стало распределение труда, а также, вероятно, что не хватает мест, обеспечивающих тот уровень дохода, который у большинства людей ассоциируется с представлением о приличном уровне жизни. Непосредственные причины происшедшего могут быть техническими, ведь изобретение все новых и новых трудосберегающих машин и механизмов продолжается десятилетиями. Однако более глубокие корни кажущейся нехватки рабочих мест — социальные. Новые изобретения внедрялись ради снижения затрат и повышения надежности; подобные цели, со своей стороны, объяснялись тем, что организованные трудящиеся защищали свой реальный доход (иногда с помощью законодательства), а также тем, что весьма трудно контролировать человеческое поведение и поддерживать его постоянство. Если же мы копнем еще глубже, то скоро вновь натолкнемся на современную историю труда.

Разумеется, это история успехов. Способность производить больше, работая меньше, создает много новых жизненных шансов. С 1870 г. валовой экономический продукт в нынешних странах ОЭСР увеличился, вероятно, минимум в десять раз, а число отработанных часов на человека сократилось наполовину. Становится возможным новое соотношение гетерономного труда и автономной деятельности, опрокидывающее наиболее скудоумные версии индустриального общества труда. Само качество труда отныне поддается улучшению. Неизбежные элементы начальствования и подчинения в мире труда могут быть смягчены представительством работников и их участием в управлении предприятием. Кто-то не мыслит себе жизни без работы, но другие могут проявлять и совершенствовать свои таланты в те многочисленные часы и дни, которые они не должны проводить на рабочем месте. И внутри, и вне мира труда появилось больше простора для самой различной деятельности. Но это относится не ко всем. Тот факт, что меньшее число людей производит больше, означает, что работы может стать мало. А вследствие этого, в свою очередь, некоторые люди при определенных условиях могут

быть вытеснены с рынка труда.

Что же это за условия? Чтобы понять это, мало постулировать «естественный» уровень безработицы примерно 6% или около того, даже если под словом «естественный» имеется в виду уровень, который невозможно снизить, не подвергаясь опасности инфляции. В недавних публикациях часто говорится о сегментации рынков труда на два или более относительно изолированных частичных рынка с собственными квалификационными требованиями и путями доступа. Наличие таких барьеров помогает понять, почему не существует единого совершенного рынка труда и почему определенные группы под воздействием конъюнктурных колебаний уходят с рынка первыми и возвращаются последними, но само по себе не объясняет явления продолжительной безработицы. Объяснение заключается в податливости или неподатливости реальной заработной платы. Если заработная плата по-настоящему «клейкая» и невозможно обеспечить занятость, значительно снизив уровень дохода, принятый для определенных профессий, то в узко монетарном смысле безработица обходится дешевле, чем полная занятость.

Тут действуют и другие факторы. Один из них заключается в том, что безработица никак не затрагивает многие из основных функций экономики. Сельское хозяйство уже давно стало сектором с высокой производительностью и низким уровнем занятости. Промышленность как вторичный сектор производства товаров пошла по его пути. Промышленное производство растет, занятость в промышленности сокращается. У оставшихся работников, занятых во вторичных отраслях, начиная с какого-то определенного момента рационализации рабочие места довольно надежные; во всяком случае они хорошо оплачиваются. А что же происходит с остальными?

Во-первых, имеется третичный сектор деятельности, необходимый нам, чтобы поддерживать на ходу первичное и вторичное производство. Занятость в традиционных сферах управления и распределения возросла, она и должна была возрасти, чтобы удовлетворять усложняющиеся варианты вкуса и спроса. Сюда можно добавить и некоторые другие виды деятельности, прежде всего связанные с организацией трансферта доходов или с реализацией социальных гражданских прав. Во всех этих областях производительность — понятие более сложное, чем в сельском хозяйстве или промышленности; экспансия новых сфер деятельности заставляет общие показатели производительности снижаться, но это мало что значит. Первичные, вторичные и традиционные третичные виды деятельности образуют так называемое социоэкономическое ядро, существование которого можно поддерживать при занятости, весьма далекой от полной.

Таким образом, при стремлении к полной занятости нужно создавать периферийные или лишние профессии. Это, по всей очевидности, мысль проблематичная. Кто решает, необходима данная профессия в строгом смысле слова или нет? Профессии, связанные с оказанием личных услуг, когда-то существовали во множестве, потом почти совершенно исчезли; в самое недавнее время они вернулись в виде организованной сферы обслуживания — фирм, занимающихся уборкой, предприятий, поставляющих «еду на колесах», или даже будочек чистильщиков обуви. Однако заметно, что они не везде существуют в одинаковом объеме, и, если бы нам потребовалось составить список профессий, абсолютно необходимых для существования современной национальной экономики, мы не стали бы вносить туда такие очевидно социально-идиосинкратические службы.

Другие примеры еще сложнее. Уже говорят, что «информационное общество» произвело больше информации, чем кто-либо в состоянии переварить, но к этой сфере относятся профессии с весьма значительным уровнем квалификации. Постоянно слышишь сообщения о явно лишних местах на государственной службе; вспомним хотя бы пример закона Паркинсона с обратным соотношением числа кораблей и числа служащих в британском флоте. Время от времени возникает вопрос, так ли уж существенно конъюнктура фирм, консультирующих по менеджменту, улучшила сам менеджмент, не говоря уже о производстве. Итак, возник широкий спектр профессий, которые в хорошие времена

способствуют благосостоянию тех, у кого это благосостояние есть, но без которых в плохие времена вполне можно обойтись. И действительно, многие из таких профессий ликвидируются первыми, когда приходится всерьез задуматься о конкурентоспособности.

И все же было бы желательно предлагать подобные формы занятости, хотя об их социальной цене еще предстоит поговорить. Класс большинства в своем отношении к этому вопросу, по-видимому, раскололся. С одной стороны, его представители стерегут «настоящие» (или, по крайней мере, выдающие себя за настоящие) профессии, подобно тысячеглазому Аргусу, но, с другой стороны, такой беспорядок, как безработица, им не нравится. В любом случае начинает образовываться новая граница — между теми, у кого есть надежное, хорошо оплачиваемое и имеющее очевидный смысл занятие, и теми, о ком этого не скажешь. Продолжительная безработица в странах с «клеякой» заработной платой и близоруким классом большинства — один из симптомов подобного явления, хотя разграничительная линия проходит скорее через низший слой работающих, нежели между работающими и безработными.

Вопросы прав, порожденные таким развитием событий, серьезны и отнюдь не просты. Профессиональное положение как ключ к жизненным шансам в обществе труда долго служило не только входным билетом в мир обеспечения, но и предпосылкой гражданского статуса. Род занятий был как бы игольным ушком, ведущим в мир прав. Избирательное право, например, не раз предусматривало, что человек должен быть налогоплательщиком, а позднее — представителем определенных профессиональных сословий. Социальные гражданские права, как правило, были связаны (и связаны до сих пор) с профессиональной деятельностью, прежде всего через принцип страхования социальных прав. Давая определение гражданского статуса, я утверждал, что он не является результатом бартерного договора и поэтому не может распродаваться по пониженным ценам; гражданскими правами не торгуют. По данной причине отделение гражданского статуса от профессии означает прогресс, и, как бы сильно хозяевам мира труда того ни хотелось, они не смогли бы повернуть этот процесс вспять. Однако партия прав вскоре сама совершила ошибку, пытаясь провозгласить право на труд. Это либо пустая фраза, либо неверное употребление слова «право». Конечно, хотелось бы найти всем работу, и политики могут считать полезным для себя обещать это, но ни один судья не может принудить работодателя нанять безработного. Во всяком случае это относится к свободному государственному устройству. Помимо того, занятость ради занятости — рецепт экономической неэффективности. В интересах свободы важнее провозгласить право не работать, чтобы правительства никого не могли вынуждать к зависимости, которой он или она предпочли бы избежать. Это вовсе не шутка, а, скорее, следствие четкого понятия о юридическом праве и правах в нашем смысле, с одной стороны, политике и обеспечении прав — с другой. Тем не менее, устойчивая продолжительная безработица ставит вопросы прав. Пока доступ к рынкам и, следовательно, к обеспечению зависит от занятости, безработица означает, что такой доступ прегражден. Это верно и в том случае, если помощь и пособие по безработице спасают человека от крайней нищеты. В Европе начались дебаты о разделении труда и гражданского статуса; есть авторы и политики, рассматривающие освобождение от труда как необходимый шаг на пути к эмансипации. В Соединенных Штатах даже радикальные авторы занимают противоположную позицию, утверждая, что труд, включая сопровождающие его властные отношения и зависимости, является предпосылкой цивилизации. Дебаты эти поднимают древние темы, но они актуальны из-за тех трансформаций в мире труда, на которые я указывал. Однако они вряд ли представляют интерес для безработных, а также в плане конфликтов, зарождающихся в обществах ОЭСР.

Опасности анонии

Реальные конфликты всегда зримы. Мало смысла говорить о глубоком расколе социальных структур, если из него не следует заметных социальных и политических разногласий. Поэтому очевидно, что в современных обществах ОЭСР нет классового конфликта в его классическом понимании. Во всяком случае, большинство наблюдателей не усматривают политических сражений между группами, стоящими по разные стороны обычных барьеров власти и прав. Конечно, существуют остатки прежнего конфликта. Класс большинства по-прежнему ведет свои бои за перераспределение. Кое-где еще используется лексика классового конфликта, и причины этого можно понять, если вспомнить ножницы «север — юг» в Италии или «юг — север» в Великобритании. Однако даже в этих странах классы не образуют главного базиса для конфликта, и, хотя начинают возникать новые разделительные линии и антагонизмы, пока они не приводят к организованным столкновениям между новыми имущими и новыми неимущими.

Можно указать причины того, что дело обстоит именно так. Одна из них заключается в самой величине и, следовательно, немалом весе подавляющего большинства. Даже сравнительно сильным группам нельзя рекомендовать попытки занять место класса большинства, а для аутсайдеров это совершенно невозможно. Другую причину представляет индивидуализация социального конфликта в открытых обществах. Может быть, солидарное действие организованными группами во все времена было не лучшим способом реализовать свои интересы. Оно отнимает много сил, требует больших эмоциональных затрат, и проходит много времени, пока чего-нибудь добьешься. Поэтому люди при малейшей возможности стараются продвигаться вперед собственными силами. В Соединенных Штатах этот способ разрешения конфликтов преобладает давно. В наши дни то же можно сказать и о большинстве других стран, по крайней мере развитых. Индивидуальная мобильность заступает на место классовой борьбы.

Если люди и действуют организованными группами, то теперь это, скорее, группы особых интересов или социальные движения, а не классовые партии. Их сегментация, как мы видели в предыдущих главах, объясняется социальными изменениями. В тот момент, когда гражданские права становятся почти всеобщими, место обобщенных требований гражданских, политических или социальных прав занимают несоответствия сфер жизни. Люди борются или за равную оплату женского труда, или против определенных форм загрязнения окружающей среды, или за разоружение, но делают это, опираясь на общий для всех гражданский статус. В этом смысле социальные движения рождаются исключительно внутри гражданского общества. Даже гражданское неповиновение имеет смысл лишь в том случае, если существуют стабильные рамки гражданских прав — и обязанность повиноваться закону.

Остается вопрос: почему жертвы продолжительной безработицы и продолжительной бедности не идут, объединившись, маршем на свои столицы, чтобы потребовать своей доли гражданского статуса? Почему нет партии безработных и партии бедняков? А если это уж чересчур, то почему, по крайней мере, низший класс не принимается с шумом громить обстановку дома, где так удобно устроился класс большинства?

Время от времени он действительно так и делает. Картины ужасных событий даже много лет спустя вспоминаются с болью. Розыгрыш кубка Европы на стадионе Хейзел в Брюсселе в 1985 г., вылившийся в массовое побоище, отвратил от такого «спорта» даже завзятых футбольных фанатов. Человечный, богатый идеями отчет лорда Скармана о «беспорядках в Брикстоне» в 1981 г. не в силах стереть из памяти телевизионные кадры, показывающие искаженные яростью лица, камни и бутылки с зажигательной смесью, летящие в полицейских, сцены разрушений и грабежа. В Америке насилие и бунты имеют давнюю традицию, но бомбардировка воинственного домовладельца с полицейского вертолета в Филадельфии в 1984 г. все равно остается памятным событием. Полицейские в шлемах и со щитами, выступающие против демонстрантов, стали повседневной деталью вечерних новостей. Дети состоятельных родителей объединяются в организации с

цветистыми наименованиями вроде «Фракции Красной Армии» или «Красных бригад» и берут в заложники предпринимателей или политиков, которых в конце концов находят мертвыми в багажниках брошенных автомобилей. Я не говорю уже о повседневном насилии — нападениях на улице, кражах со взломом и убийствах — в больших городах. Неудивительно, что у Барбары Тачмен, показавшей двадцатому веку его отражение в «далеком зеркале» века четырнадцатого, нашлось много читателей: тоща «причудливыми и великими источниками гибели» являлись «чума, войны, налоги, разбой на дорогах, плохое управление, непокорность и церковный раскол»¹⁹. Этот список легко можно модернизировать: СПИД, войны, налоги, терроризм, плохое управление, восстания и вездесущая ядерная угроза.

На ум приходит еще одна мысль. Маркс и Энгельс в «Коммунистическом манифесте» мимоходом говорят о так называемом люмпен-пролетариате. Эти «социальные отбросы» (так некоторые переводят это слово на другие языки) представляют собой, как неласково выразились Маркс с Энгельсом, «пассивный продукт гниения самых низших слоев старого общества». Во всяком случае, это не тот материал, из которого делают революции. Хотя в конечном итоге представители люмпен-пролетариата и могут быть подхвачены революционным потоком, их социальное положение превращает их, скорее, в резервную армию для происков реакции. Теодор Гайгер поднял эту тему в начале 1930-х гг. Низший слой «не имеет своего экономико-социального места». Присущий ему менталитет ведет его не к организованному представлению интересов, а к разнузданному бунту. Завладеть этой группой коммунистам и национал-социалистам легче, чем реальной политике социал-демократии и профсоюзов. «Как известно, среди рабочего населения есть подонки, которые не могут приноровиться к трудовой жизни, психически неспособны вести размеренную жизнь и, подобно истинным ландскнехтам, подражаются на участие в стычках и авантюрах, не спрашивая, кому продают свои кулаки, дубинку или кастет».

Но все это не может служить объяснением социального конфликта в конце XX в. Мы как будто складываем один и один и удивляемся, что у нас не получается четыре. В действительности есть множество ситуационных конфликтов (как их можно назвать), т.е. не связанных между собой актов публичного насилия, из которых ничего не следует, разве что участникам больно, да окружающие пугаются. Между прочим, даже участники сопровождающихся насилием демонстраций зачастую не являются представителями низшего класса. На самом деле низший класс ни в Америке, ни в Европе особенной склонности к насилию не испытывает; он даже не слишком враждебен официальному обществу. В том случае, если бедняки и безработные вообще приходят на выборы, голоса их распределяются практически так же, как голоса остальных избирателей. (Так было и в 1930-е гг., когда писал Гайгер. Вовсе не безработные помогли Гитлеру прийти к власти, хотя их судьба имела отношение к истерии, охватившей среднее сословие.) Один автор, опираясь на эмпирические исследования, называет низший класс «отчужденным и популистским, но не ради-кальным»²¹. Он многократно расколот внутри себя, так что его представители в большинстве своем стремятся найти собственный, персональный выход из нищеты. Великие темы общественной дискуссии оставляют их довольно равнодушными. Низший класс склонен к летаргии.

Но он отчужден, и фактическое положение в жизни при этом не столь важно, как субъективный опыт. Для низшего класса и жертв продолжительной безработицы ключевым является то, что им, так сказать, не находится применения в игре, которую ведет общество. Игра идет без них. Констатация морально нестерпимого факта, что обществу они не нужны, находит самое серьезное подтверждение. Среди класса большинства многие хотели бы, чтобы низший класс просто исчез с горизонта; сделай он это, его отсутствие вряд ли кто-то заметил бы. И его представители это сознают. Прежде всего, общество далеко от них. Его символизируют полиция, суды и вообще государственные учреждения и чиновники. Отделение человека от официального общества редко бывает таким полным, как можно заключить из вышесказанного. Для многих индивидуальное восхождение по социальной

лестнице остается возможной альтернативой чувству обиды и агрессии. Им свойственно, принадлежа к низшему классу, порой покидать его ряды на время, пока снова не скатятся вниз. С другой стороны, ощущение своей непригодности для общества, по-видимому, выходит за пределы тех групп, для которых характерны безработица и бедность. Молодые люди в первую очередь склонны черпать свои ценностные ориентации на социальных задворках, даже если у них есть работа и возможность найти себе место в комфортабельном доме большинства. Происходит своеобразная конвергенция культуры низшего класса и контркультуры среднего класса; нынче, так сказать, считается хорошим тоном отвергать свою принадлежность к последнему. Не обращать внимания на нормы и ценности официального общества стало весьма распространенной привычкой.

Может быть, эта привычка — важнейшая черта обществ ОЭСР в последние два десятилетия XX века. У нее есть название — аномия. Фантазия обществ не знает границ, когда речь идет о том, чтобы дать выход существующим в них напряженности и антагонизмам. Уличные бои и сопровождающиеся насилием забастовки, выборы и переговоры о тарифах, коллективная и индивидуальная мобильность — все это формы выражения одних и тех же основополагающих сил. Сегодня мы можем добавить к ним еще один вариант. Конфликты проявляют себя не только в боевых порядках революционной войны или в демократической классовой борьбе, но и в аномии.

Это понятие достаточно важно, чтобы ненадолго задержаться на нем. Греческое слово «аномия», «беззаконие», часто употребляют как синоним анархии. (Нет права, не связанного с властью!) Один английский автор спустя не так много времени, после того как Барбара Тачмен показала свое зеркало, писал, что аномия «приносит воцарение беспорядка, сомнения, неуверенности». В современной общественной науке введение этого понятия приписывают Эмилю Дюркгейму, который говорил об аномии, описывая прекращение действия социальных норм в результате экономических и политических кризисов. Люди при этом теряют все связи и в конечном итоге видят единственный выход в самоубийстве. Роберт Мертон придал нашему пониманию аномии свой оттенок, описав ее как «коллапс культурной структуры», наступающий, когда люди в силу своего социального положения не в состоянии следовать ценностям своего общества²³. Когда молодым людям твердят, что они должны делать карьеру, полагаясь на терпение и упорный труд, но при этом самый многообещающий способ заработать деньги — спекулировать опционами будущего на бирже, возникает аномия.

Это понятие помогает характеризовать отличительные признаки современных обществ. Часто утверждают, будто за последнее время выросло число насильственных («тяжких») преступлений. Факты не дают однозначного подтверждения. Преступления против собственности и совершаемые в состоянии наркотического опьянения, конечно, стали совершаться чаще; количество убийств (и самоубийств) всегда было подвержено колебаниям, колеблется оно и сейчас; число тяжких преступлений (нанесение телесных повреждений, квалифицированный разбой, изнасилование) в некоторых странах за период с 1950-х по 1980-е гг. удвоилось, но в других существенно не изменилось. Однако есть кое-что поважнее голых цифр, исчисляющих количество правонарушений, — это неспособность общества с ними справиться. В нормативном мире конца XX века возникли некие «неправовые зоны». В английском языке есть выражение *no-go area* для обозначения районов, куда никто не ходит, и прежде всего полиция. Официальные инстанции это, естественно, отрицают, но в крупных городах действительно существуют кварталы, а также станции подземки и вокзалы, ставшие (если говорить в свете гамбургского опыта) своего рода «портовыми улицами», и все, что там происходит, не подпадает под нормальные санкции правового общества. Иногда так и спрашиваешь себя, не превратились ли некоторые школы и университеты тоже в «неправовые зоны» в том смысле, что господствующие в обществе нормы, кажется, теряют там свою силу.

Существование символических «неправовых зон» в наших обществах дает повод и к более серьезным вопросам, связанным с тем, каким образом соблюдаются или не

соблюдаются закон и порядок. «Оправдание виновного» (как это называет один английский юрист) стало обычным явлением в обществах наших дней²⁴. Мы знаем, что такие-то люди нарушили закон; они даже открыто признаются в этом; но мы знаем также, что они не понесли наказания. В этой связи особенно остро стоит вопрос о несовершеннолетних правонарушителях. Тенденция даже в случае убийства или нанесения тяжких телесных повреждений возлагать ответственность за их поступки на «общество» господствовала десятилетиями; половина всех традиционных преступлений и еще больший процент всех насильственных преступлений за те же десятилетия совершены лицами — в основном мужского пола — моложе 21 года. Существование молодежной нормативной «неправовой зоны», вероятно, больше всего чревато последствиями, ибо изымает из сферы действия норм, на которых держится общество, тех, кто должен усваивать эти нормы.

С этой точки зрения, аномией называется социальное состояние, при котором нарушение норм не влечет за собой наказания. Отчасти это феномен низшего класса. «Отсутствие» отцов у множества незамужних матерей Америки поднимает вопросы, на которые необходимо найти ответ. Амартья Сен не всегда прав в своем драматичном утверждении, что право и закон стоят между наличием благ и правом на них; кое-кто, лишенный такого права, просто берет все, до чего может дотянуться, а полиция и суды ничего не могут с ним поделать. Помимо того, аномия — состояние, охватывающее все сферы социальной жизни. Сюда относятся и издевательство над детьми, и супружеское изнасилование, так же как уклонение от уплаты налогов и другие формы экономической преступности. Людям не находится применения в обществе, и поэтому они не чувствуют себя связанными его правилами. Это одна сторона медали. Другая — то, что у общества падает доверие к собственным правилам и оно просто перестает силой добиваться их соблюдения.

Здесь, как и везде в данном очерке, я не хочу обесценивать свои тезисы преувеличениями. Нормы нарушались всегда, и всем обществам бывало нелегко добиваться их соблюдения силой. В известной мере нарушение норм может даже иметь оздоровляющий эффект; как известно, нет более верного способа вызвать застой в экономике, нежели заставляя все общество строго выполнять предписания. Тем не менее, остается еще проверить, не ставит ли новейшая форма социального конфликта под вопрос сам общественный договор. Я имею в виду не хитроумные дополнения, вносимые в него социальными гражданскими правами, как бы важны они ни были, а первостепенные и основополагающие статьи общественного договора, в которых речь идет о законе и порядке. Либералы не любят этих слов, поскольку их часто используют ради того, чтобы буквой закона убить его дух. Однако здесь мы встречаемся с темой, позволяющей связно выстроить аргументацию относительно современного социального конфликта.

В наше время еще сохранились многие остатки прежних конфликтов. К ним относятся и формы привычного классового конфликта. Однако никакого сравнимого с ним нового конфликта не возникло. Отношения между классом большинства и низшим классом не могут породить и не породят организованных конфликтов, которые можно было бы сравнить с конфликтами между буржуазией и рабочим классом. Но они создают проблему, чреватую серьезными последствиями. Общество, по всей видимости, готовое примириться с длительным существованием группы, не имеющей в нем никакого реального применения, ставит под вопрос собственное существование. Это сформулировано весьма абстрактно, так же как и мысль, что общество потеряло доверие к собственным правилам. Речь о том, что класс большинства теряет доверие к себе. Он больше не уверен в прочности своего положения. Поэтому он проводит границы там, где их быть не должно, и колеблется, когда дело доходит до необходимости силой добиться соблюдения своих правил.

Возможно, это временная фаза. К некоторым странам многие положения данной главы применимы весьма условно. Швеция или Швейцария, Япония (хотя и по-другому) давно идут собственным путем. Или они всего лишь отставшие путники на дороге к

аномии? Мы все время подчеркивали различия между обществами. Тем не менее, в Соединенных Штатах Америки и в Западной Европе признаки сомнения в себе налицо. Я озаглавил этот раздел «Опасности аномии». Некоторые из них очевидны. «Воцарение беспорядка, сомнения и неуверенности» уже достаточно плохо. Но куда большая опасность заключается в другом. Аномия недолговечна. Это приглашение узурпаторам, чтобы те навязали большинству систему фальшивого порядка. Либералы сами провоцируют именно то, что так претит им в приверженцах «закона и порядка», своей нерешительностью в поддержке институтов. Опасность аномии — в многоликой тирании.

Набросок обращения к молодежи

Тема гражданского общества прорывает все границы. Она богата и многоцветна, как сама действительность жизни. И нам ее здесь, конечно, не исчерпать. Однако хочется хоть на мгновение прервать абстрактные рассуждения о конституциях и институтах. В конце концов, реальные люди в реальных жизненных условиях, если они не активисты, вряд ли живут по повестке дня политики, пусть даже политики свободы. Они хотят узнать что-нибудь о ценностях, на которые могли бы ориентироваться. Свобода в элементарном смысле слова — как раз такая ценность. Она представляет собой простое требование не сидеть взаперти. Тот, кто любит свободу, сокрушит любую «железную клетку» — бюрократии, невыносимых жизненных обстоятельств или лагеря для военнопленных. Политика, лишаящая остроты, чтобы не сказать — отчуждающая это простое требование, переводя его на свой институциональный язык, не может вызвать энтузиазм у людей, особенно у молодых. Политическая теория вообще его никогда не вызывала. Нужно ли смириться с этим?

Вероятно, в известной степени ответ — да. Но признавать это все-таки неприятно. Конечно, теперь стало трудно пробудить у молодежи восторженное отношение к общественным делам. Я как-то задумался о том, что бы я сказал, доведись мне выступить на выпускном вечере в школе или университете. Это всегда было нелегкой задачей, а в наши дни — более, чем когда-либо. Вот кое-какие заметки, которые могли бы помочь при подобной попытке, т.е. не сама речь, а набросок речи.

Ради чего стоит бороться или хотя бы просто жить? На этот вопрос нет простых ответов, во всяком случае больше нет. В 1940-е гг. мне не составило бы труда сказать молодым людям: боритесь за свободу и защищайте достигнутое зубами и когтями! События эпохи и жизнь отдельного человека были тогда неразрывно связаны, и каждый понял бы такой совет. В 1950-е гг. напрашивались слова: трудитесь упорно, и будете вознаграждены! (Это значит: заботьтесь о своей карьере и получайте удовольствие от покупки первого холодильника или автомобиля, собственной квартиры.) В 1960-е гг. центр внимания несколько сместился бы: материальное благополучие — это прекрасно, но есть другие, более важные вопросы, о которых вам нужно побеспокоиться! В памятную записку для зажигательной речи тогда вошли бы война во Вьетнаме, социальные реформы, демократическое участие. (Признаюсь, мои предвыборные речи в те годы доставляли мне удовольствие, и я вряд ли что-то изменил бы в них, выступая на школьном выпускном вечере.) В 1970-е гг. положение стало менее ясным: пристегните ремни, входим в зону турбулентности! Подобный совет вряд ли способен окрылить фантазию выпускников средней и высшей школы. Однако на самом деле то было время великолепных сценариев катастроф — будь то экологическая катастрофа, ядерная война или пределы экономического роста, — и, в свете этого, неплохое время для обращений к молодежи.

Начиная с 1980-х гг. все уже не так. Люди по горло сыты мрачным пессимизмом. Поэтому 1989 год вновь дал повод щегольнуть красноречием. Это относилось безусловно к новым демократиям, но и в более старых нашло отклик. Как будто вернулись сороковые и пятидесятые. Однако видимость оказалась обманчива. Новая эйфория длилась недолго, а может быть, просто слишком долго не наступало то, что она обещала. Молодые люди стали нетерпеливы. Время «отложенного удовлетворения», накопления и ожидания прошло.

Кажется, сейчас для молодых особенно притягательны два стиля жизни, отличные друг от друга почти во всем, за исключением того, что обоим присуща одержимость, своя форма страсти. Одна из них — страсть к деньгам. Мы уже встречали у Сьюзен Стрэндж «непрерывно дымящих сигаретами молодых людей... в деловых небоскребах, вздымающихся над всеми крупными городами мира». Поразительно, что женщина, рисуя картину «капитализма казино», ограничилась изображением молодых людей; ведь множество девушек надрываются не меньше (и не меньше курят) в новом сияющем мире финансовых учреждений. Рано утром в вагоне наземки они уже погружены в чтение

экономического ежедневника, а по вечерам тащат домой дипломат, набитый бумагами. Молодые люди и девушки надеются получать в первый год после выпуска профессорский оклад, а через каких-нибудь два года — вдвое больше. Порой они занимаются и другими делами, но при этом относятся к теннису или джоггингу не менее серьезно, чем к своей работе. Они верят в то, что делают, и готовы вкладывать собственные деньги туда же, куда деньги других людей. Если открывается лучшая возможность, они меняют фирму так же, как беспрестанно сливают и разделяют различные предприятия, заставляя появляться новые названия и исчезать старые. Их ролевые модели — великие бизнесмены, преуспевшие в это десятилетие. Они не допускают мысли о том, что их собственные имена, подобно именам Трампа, Милкена и Максвелла, могут погаснуть так же быстро, как воссияли. Прежде всего они хотят зарабатывать миллионы, и не потому, что им нужны деньги, чтобы покупать вещи, которые им нравятся, а потому, что они жаждут успеха, а деньги — единственное его мерило. Это предприниматели новой волны финансового капитализма.

Число таких одержимых значительно, хотя не все из них в возрасте до 35 лет зарабатывают миллион в год. Как на любых тропах, ведущих на крутую вершину, и на этих многие застревают на полдороге, если не срываются. Пожалуй, даже всем, ступившим на эту тропу, следует ожидать, что их путь начнет становиться все более пологим, а затем медленно пойдет под уклон в том возрасте, когда их родители еще могли рассчитывать на один-два немаловажных шага в своей карьере. А может быть, уже в октябре 1987 г. или, самое позднее, в кризисном 1991 г. наступил перелом, уничтоживший шансы покинуть капиталистическое казино хотя бы с небольшим выигрышем. Одержимым трудно перенести спуск. Их жизнь — езда без тормозов, поэтому и под уклон они вынуждены мчаться, разгоняясь навстречу поджидающим опасностям. Есть что-то неустойчивое в этих новых любителях делать деньги, что-то недолговечное, даже если не принимать во внимание физические и духовные побочные эффекты их болезненной страсти. Но молодых людей, к которым должна быть обращена моя речь, вряд ли отпугнет личный риск.

Другая страсть приносит не столько прибыль, сколько убытки, и направлена на то, чтобы не подняться, а опуститься. Некоторым образом обе они взаимосвязаны. Рассказывают о похоронах одного невероятно удачливого торговца наркотиками на западном побережье США. Траурная процессия растянулась на два километра, и в ней шли многие жертвы покойного, любившие его за произвольно проявляемое великодушие, заставлявшее их забывать даже о не менее произвольно проявляемой жестокости. (Матери-то, конечно, о его злодеяниях не забыли.) Так, например, однажды он скупил мороженое во всех киосках и кафе города и раздавал его бесплатно; заплатил, естественно, долларами, украденными молодыми людьми ради того, чтобы купить второсортный крэк и другие наркотики. Эта сцена высвечивает грань между жаждой успеха и жаждой несостоятельности: по одну сторону те, кто продает порошок и зарабатывает миллионы, по другую — те, кто им пользуется и кому для этого нужны сотни, которых у них нет. Те и другие, между прочим, нарушают нормы, без которых не может существовать свободное общество.

Стремление опуститься не обязательно связано с наркотиками. Я уже указывал на своеобразную конвергенцию культуры низшего класса и так называемой контркультуры среднего класса. И та и другая — протест против бюрократизированного мира класса большинства. Как мне представляется, фактически и капитализм казино является одним из вариантов той же позиции. Отрицание скучной, кажущейся неизменной действительности с ее удушливыми ценностями и образом жизни — общий знаменатель предпочтительного выбора многих молодых людей. С их собственными ценностями беда в том, что они в основе своей негативны. Дикие костюмы и прически сочетаются с любовью к оглушительному шуму, будь то рэп, рок или всего лишь диско, и с постоянным поиском путей и средств обозначить дистанцию между собой и миром истеблишмента. Все это в любом смысле никуда не ведет, да, естественно, и не должно вести. Но это странный тупик.

То же можно сказать и о более мягких формах этой болезни, хотя их жертвы ищут альтернативный стиль жизни, т.е. позитивные пути. Как ни парадоксально это звучит, молодежь чувствует себя потерянной в бюрократической «железной клетке»; она ищет связей. Социальные движения 1980-х гг. зачастую преследовали одновременно две цели: одну — непосредственную, ради которой движение и было создано (запрет на размещение ракет, например, или женское равноправие) и другую, скрытую — цель создания климата солидарности. И немецкое движение зеленых для многих своих членов было столько же партией, сколько семьей, со всеми присущими ей семейными дрызгами. Ночь, проведенная вместе с десятками других перед американской военной базой в разговорах о жизни и смерти — сладостной жизни в любви и страшной смерти от ядерных ожогов и рака, — дарит людям теплое чувство сопринадлежности.

Но мое обращение к молодежи явно застопорилось на одном месте. Зачем смеяться над теми, кто все-таки пытается делать что-то иное? Что такого привлекательного в размеренной жизни банковского клерка, который женится и получает повышение, разводится и получает повышение, заботится о детях и получает повышение, снова женится — и его досрочно отправляют в отставку, потому что его банк взял на работу 28-летнего умника, поручив ему удвоить прибыль за счет уменьшения расходов на зарплату персоналу. Так и видишь, как уволенный предается пьянству (на худшее он не осмеливается), и детей его не слишком тянет пойти по стопам отца.

Нужно найти стиль жизни, не имеющий ничего общего ни с бюрократией, ни с одержимостью. Нет, не «найти», а создать такую жизнь. Молодые люди должны делать что-то, что имеет значение. У значения два аспекта: то, что люди делают, должно, во-первых, доставлять удовольствие, во-вторых, быть важным.

«Удовольствие» — сокращенное наименование личного опыта. Есть и высокопарные слова, для того чтобы сказать то же самое. Многие ведут речь о самоосуществлении и тому подобном. Я полагаю, вполне достаточно, если ты находишь удовольствие в том, что делаешь, и при этом время от времени испытываешь приятное чувство удовлетворения. В идеале все это дает профессиональная деятельность или во всяком случае деятельность, которой заполнены твои будни. Несомненно, приятные ощущения знакомы и юным финансовым гениям: успех доставляет удовольствие. Но успех измеряется по-разному. Немножко терпения никогда не помешает, к тому же без него не обходится большинство историй успеха. Удовольствие могут доставлять встречи с интересными людьми. Сама работа может приносить удовлетворение. Ощущение, что ты что-то создал, — тоже успех. Когда кто-то хорошо делает свое дело, почти все могут оценить это по достоинству.

Я хочу сказать всем этим, что удовольствие важнее карьеры. Конечно, они могут сопутствовать друг другу: некоторым доставляет удовольствие очередная звезда на погонах. Но все же что-то неладно с карьерно ориентированным жизненным планом. Начинается он — кто об этом помнит? — с материнской гордости при появлении ранних признаков одаренности; следующий шаг — хорошие, очень хорошие школьные отметки, гарантирующие место в вузе. И там главное — результаты экзаменов; если они очень хороши, тебя ждет место в уважаемой организации, где ты будешь через определенные промежутки времени регулярно получать повышение... Можно понять, если такой жизненный путь для многих утратил свое очарование. Между прочим, он лишил всякого удовольствия учебу в средней и высшей школе, ибо там следовало бы вести речь о знаниях и умениях, творческих способностях и свободном мышлении, а не о карьере в первую очередь. Вообще обычная карьера заставляет зевать людей, только-только вступающих в жизнь (и к тому же делает большинство из них старше, чем им следует быть, когда они сами начинают что-то делать). Итак, удовольствие от сделанного должно приходить намного раньше.

Это не речь в защиту детей богатых родителей. Мой совет, вероятно, касается детей класса большинства, хотя и детям низшего класса нужно нечто большее, чем работа, которую они сами не воспринимают всерьез. Суть моего выступления в том, что нужно

сорвать смирительную рубашку карьерного мышления и поискать другое мерило успеха. Удовольствие — половина его, а другая половина заключается в том, что то, что ты делаешь, должно быть важно. Удовольствие — чувство твое личное; что важно — в меньшей степени решают другие. Этот аспект связывает твою собственную деятельность с ценностями других людей. Им определяется значение вещей. Он отличает страсть от деятельности.

И снова я не имею в виду какие-то чрезмерные претензии. Важным может быть многое, включая, например, хорошо сшитое платье, которое нравится другим, тщательно разработанный маршрут экскурсии для пенсионеров, желающих повидать мир за ограниченную плату, фильм о судьбе афганских беженцев в Пакистане. Вот у фильма есть два особых аспекта. Во-первых, это форма художественного выражения. Она может требовать каких-то специфических и сравнительно редких навыков, но я слышал, как молодые люди говорят о «творческих задачах» применительно к целому ряду вещей, доступных для большинства. Произвести на свет что-то новое, не обязательно уникальное или оригинальное, но созданное собственными руками или мыслью, — это в глазах многих людей важное дело.

Другой аспект фильма тот, что он о беженцах. Я не призываю создать мир благотворителей, но многие важные вещи тем или иным образом связаны со справедливостью или, точнее, смягчением царящей в мире несправедливости. Одни желают вести борьбу, так сказать, в общем виде — основывать организации, принимать участие в демонстрациях, писать и распространять листовки, и часто это дело хорошее и нужное. Другие хотят делать что-то конкретное, образно говоря, зажигать маленькие свечки, вместо того чтобы проклинать темноту, и потребуются еще много маленьких свечек, пока свет дойдет до всех. Работа, прямо или косвенно способствующая улучшению участи других людей, — будь то работа по профессии, служба добровольцем, занятие в свободное время или что-то еще — важна особенно.

Она имеет значение. В наши дни со смыслом и значением проворачивается много трюков. Ловкие предприниматели в сфере духовного обогатились на жгучей потребности людей найти лигатуры в лишившемся всех связей мире. Они основали квазицерковные организации, по определенному тарифу облегчающие совесть по телевидению или, в счет непредвиденных издержек, прибирающие к рукам всего человека, часто молодого. «Возвращение святого» — одновременно чрезвычайно серьезная, часто отчаянно серьезная вещь и соблазн для торговцев ложными богами. В этой области не всегда просто отличить подлинное от неподлинного. Даже благородная патина институтов, имеющих давнюю историю, не гарантия против оболыбления и обмана. Может быть, самый важный совет — оставаться скептиком, не позволяя скепсису выродиться в цинизм. Есть много вопросов, на которые мы не знаем ответов; их не знает ни один человек. Вероятно, есть и ответы, превосходящие наш повседневный опыт. Иностраный синоним «превосходить» — «трансцендировать». Есть, стало быть, трансцендентные ответы. Может быть, есть даже такие люди, которые понимают в них больше остальных. Но ни одно человеческое существо не является непогрешимым. Поэтому ни у кого не может быть тотальных претензий на нашу жизнь.

Рецепт против искушения мнимой святостью во всех формах — что-нибудь делать. Так можно резюмировать мой совет эпохи 1990-х гг.: ради Бога, делайте что-нибудь! Делайте что-то, что имеет значение, поскольку доставляет удовольствие вам и важно для других. В нашем несовершенном мире дел хватает.

Делать что-то означает и делать что-то в свободной ассоциации с другими. Это приводит нас в пестрый мир добровольных объединений и организаций, а затем и к автономным институтам. Следовательно — к гражданскому обществу. Оно — питательная среда для жизни, наполненной смыслом и значением, для осуществленной свободы. Но ему нужны рамки. Обращению к молодежи не обязательно быть политической речью, но у него есть политические предпосылки. Вряд ли можно делать важные и доставляющие

удовольствие вещи, оставаясь в кругу социальной обездоленности или живя в условиях, когда один человек, или партия, или учреждение присваивают себе право помыкать другими. Даже возможности выбора, предоставляемые сегодня молодым, предполагают наличие свободных обществ. Многие предпочли бы иметь дело с этими возможностями, а не их предпосылками, и кто упрекнет их за это? Я нигде не утверждал, что политическое участие — само по себе ценность или хотя бы обязанность, связанная с гражданским статусом. Картина политики, лежащая в основе этого очерка и освещенная нами с помощью Макса Вебера, изображает не общество активистов и постоянной политической дискуссии, а общество бдительных граждан, готовых в случае необходимости защищать институты свободы и чувствительных к нарушениям ее принципов, но в остальном живущих собственной, «гражданской» жизнью. В то же время у некоторых из них должен быть повышенный интерес к тому, чтобы защищать эти институты, стимулировать их движение и развивать их. И было бы неплохо, если бы этим занималось как можно больше людей. Ибо политика свободы — не роскошь.